И. А. Бунин

ДЕРЕВНЯ

Повести и рассказы

Классики и современники



И. А. Бунин

ДЕРЕВНЯ

Повести и рассказы



Москва
«Художественная литература»
1981

Классики и современники

Русская классическая литература



Текст печатается по изданию:
И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2, 3, 4.
М., «Художественная литература», 1965–1966.

Вступительная статья
Л. КРУТИКОВОЙ

Художник
В. ГОШКО

Б $\frac{70301-262}{028(01)-81}$ 8–81 4702010100

«АХ, ЭТА САМАЯ РУСЬ...»

Собранные в настоящем издании рассказы и повести Бунина – малая, но важная, корневая часть его литературного наследия. В них – русская земля и русская деревня, русская природа и русские люди той средней полосы России, что была человеческой и писательской колыбелью будущего художника, его «начальная любовь».

Родился Иван Алексеевич Бунин 10(22) октября 1870 года в Воронеже, в обедневшей дворянской семье, окончил всего 4 класса Елецкой гимназии, а детские и юношеские годы вплоть до 19 лет провел в деревенской глуши Елецкого уезда Орловской губернии – на хуторе Бутырки, а затем в деревне Озерки, в разорившемся имении Каменка. Там, в мелкопоместных усадьбах, «в глубочайшей полевой тишине» и в полустепных просторах, среди богатейшего чернозема и бедных крестьянских изб, впитывала душа подростка красоту и печаль России, трагические загадки русской истории и национального характера. В детстве и юности столкнулся Бунин с теми социально-психологическими сложностями русского повседневного быта, русских нравов и русских характеров, которые он затем осмыслял и разгадывал в своих книгах – «Деревне» и «Суходоле», многочисленных рассказах и стихах, в «Жизни Арсеньева».

«Меня всегда волновали земля и народ»,– замечал впоследствии Бунин. Он неизменно возвращался в родные края, жил в деревне и тогда, когда стал знаменитым писателем. Оказавшись после Октябрьской революции в эмиграции, живя во Франции, он до последних дней (умер Бунин в 1953 году) духовно возвращался на Родину – в книгах, в думах, гневным осуждением фашистских орд, ворвавшихся в Россию, неколебимой уверенностью в духовной силе и красоте русского человека.

Детские и юношеские впечатления создают основу писательской личности. Но какой огромный труд, сколько мук и усилий духа, страданий, сомнений и радостей ума и сердца надо было пережить, сколько потребно было узнать и увидеть в мире, чтобы затерянную в деревенской или провинциальной глуши жизнь русского человека вывести на просторы истории и вселенной, связать, по словам Горького, «с общечеловеческим на земле».

Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

Интерес ко всем векам и странам заставил художника исколесить почти весь мир. Он изъездил всю Европу, путешествовал по странам Ближнего Востока, бывал в Турции, в Греции, в Египте, Сирии, Палестине, на окраинах Сахары, на Цейлоне, в Индии... Русская деревня и сторожевые курганы Дикого поля, места, где бились полки Игоревы, комфортабельные европейские отели, новейшая техника океанских кораблей и пирамиды Хеопса, развалины Баальбека, стихия тропиков и океана, жизнь русских крестьян, цейлонских рикшей, американского миллионера – все вбирала его редкая память, послушная зову призвания.

Не было, пожалуй, другого писателя, который бы столь родственно, столь близко воспринимал и вмещал в своем сознании далекую древность и современность, Россию, Запад и Восток.

Дворянин по происхождению, разночинец по образу жизни, поэт по дарованию, аналитик по складу ума, неутомимый путешественник, Бунин совмещал, казалось бы, несовместимые грани мировосприятия: возвышенно-поэтический строй души и аналитически-трезвое видение мира, напряженный интерес к современной России и к прошлому, к странам древних цивилизаций, неустанные поиски смысла жизни и религиозное смирение перед ее до конца непознаваемой сутью.

Современник Л. Толстого, Чехова и Горького, Н. Рериха и Рахманинова, страстный и даже пристрастный свидетель бурных революционных событий в России, Бунин нередко спорил с историей, с веком, с современниками. Он отвергал революционное пересоздание жизни, отвергал любое насилие, хотя сам понимал и предугадывал и неизбежность преобразования мира, и неизбежность, даже праведность народного восстания против жестокой несправедливости, беспощадности и безнравственности власть имущих.

Глубина и масштабность бунинских произведений о русской деревне откроется лишь тем читателям, которые за блестяще выписанными картинами, нередко беспощадно жестокими, почувствуют болевой накал философских и социально-нравственных исканий художника, высоту его устремлений, немеркнущую силу его очищающего и возвышающего слова.

Преемственность поколений, наследие веков, тема памяти, воспоминаний, корневых связей человека с прошлым – историческим, культурным, природным – всегда занимали Бунина. Впервые эти проблемы зазвучали в путевом очерке-поэме «Святые горы» («На

Донце»). Герой-рассказчик включен в поток бытия, породнен с природой и вековой историей. А рядом с ним – три крестьянина, три различных характера, три разных отношения к миру...

Уже тогда, в начале литературной деятельности, мучили писателя вопросы о смысле бытия, о тягостной, запутанной, зачастую бесплодной жизни русских людей – крестьян, разоряющихся дворян, либеральной и народнической интеллигенции, его тревожили трагические судьбы рано погибших писателей – Николая и Глеба Успенских, Левитова, Гаршина, Надсона, Щедрина. «Страшные загадки русской души уже волновали, возбуждали мое внимание», – вспоминал позднее Бунин.

Но не сразу обрел писатель свой подход, свой взгляд на Россию, деревню, русский характер. Первые рассказы были традиционны, в них звучали боль и сострадание к униженным, голодным, бесправным и таким добродушно-покорным, безропотным, как крестьяне, собравшиеся «на край света». Философски углублен, поэтически одухотворен, но еще идилличен крестьянин в рассказах «Сосны» и «Мелитон».

В двух руслах развивалась художественная мысль Бунина в первом десятилетии XX века, в период революции и реакции. В эти годы мужал его талант, обострялось социально-гражданское мышление. Он вглядывался в исторически сложившиеся устои России, искал причины их распада, пытался уловить ход истории. Вместе с тем его не меньше влекли проблемы нравственные, эстетические, то, что помогало бы человеку обрести и сохранить духовное богатство веков. Он поэтизирует «прекрасное и вечное», «любовь и радость бытия», красоту и неповторимость отдельного мгновения как в природе, так и в человеческой душе. Проблемы злободневно-социальные вставали в сознании Бунина вровень с проблемами историческими, философскими, этическими.

Писатель чутко улавливал атмосферу, настроения времени: ожидание народом перемен, рост озлобления и недовольства, запустение русской земли, которая, оказываясь предметом купли-продажи, была лишена подлинного, рачительного хозяина («Сны», «Золотое дно»). Бунин внимательно следил за всем, что происходило в стране. Всеобщая забастовка, царский манифест, баррикады, восстания, бесчинства черносотенцев и погромщиков, меняющиеся настроения в деревне и в столицах...

Увиденное и пережитое поначалу сказалось в поэзии, в публицистически-страстных стихах. Он славит дерзновенных героев, взятых из мифологии или истории. «Умерший в рабский век – бессмертием венчается в свободном» («Джордано Бруно»).

Стихотворение «Пустошь» (1907) – первая попытка осмыслить революцию и реакцию в свете русской истории, неизжитого насле-

дия крепостничества. Бунин впервые сливает воедино ход истории, судьбу народа и личности. Великое и подлое, время «зверств, расстрелов, пыток, казней» предстает как трагедия миллионов, как трагедия нации в целом. Бунин начинает трезво судить о России, народе и человеке. Он не щадил и самого себя. От имени лирического героя звучат бичующие слова: «Я, чье чело отмечено навеки клеймом раба, невольника, холопа...»

Как всякий великий художник, Бунин имел право сказать о себе: «писатель носит Родину в душе». В его натуре, в его личности бушевали (и с какой силой!) светлые и темные стихии национального характера. Беды и трагедии народные, русские он переживал как свои собственные: «Если бы я... эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я... страдал так беспрерывно, так люто?»

Только чувствуя великую боль и даже вину, личную ответственность за все происходящее в стране, мучительное желание помочь народу, можно было написать такие книги, как «Деревня» и «Суходол», книги-потрясения, книги, зовущие к пробуждению гражданского и человеческого самосознания, книги гневные и скорбные одновременно, книги пророческие, предостерегающие, заставляющие думать о самом главном.

«Деревня», пожалуй, единственное произведение, которое Бунин писал торопливо, нервозно, чуть ли не исступленно. Писал даже по ночам, доходя до обмороков. События революции и реакции, судьбы России и народа, загадки русской истории и национального характера будоражили мысль художника, требовали ответа. «Ах, эта самая Русь и ее история! Как это не поговорили мы с Вами вплотную обо всем этом! Горько жалею»,– писал Бунин Горькому в 1909 году, в пору работы над повестью.

Ни одна из его книг не писалась с таким болевым ощущением, с таким гражданским накалом, с такой силой неперебродивших, неотстоявшихся мыслей и чувств. Вопросы, резко, по-чаадаевски, поставленные в книге, были обращены не только к общественности, но и к самому себе. Их будет обдумывать и распутывать писатель долгие годы, до конца дней своих.

В «Деревне» все раскалено, порой тенденциозно, все бьет читателя по душе, повествование нередко перенасыщено жестокими, беспощадными подробностями. Иного читателя может оттолкнуть такая суровость, такое нагнетение безотрадных картин русской жизни. И не случайно «Деревня» и при своем появлении, и в наши дни вызывала и вызывает споры, разноречивые толкования и даже упреки автору то в барски-дворянском отношении к мужику, в незнании народа, то в неверном изображении деревни, в идеализации патриархального долготерпения, то в историческом пессимизме, фатализме и прочих грехах. Порой даже те, кто хвалил «Деревню»

за ее правдивость, силу словесного искусства, не понимали ее глубинной сути. С горечью писал Бунин Горькому после первых откликов критики: «И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь... за всю мою жизнь не владел я буквально ничем, кроме чемодана»,– добавлял он, сетуя на нелепые измышления критиков о его поместьях.

«Деревня» необычна по жанру, по стилю, по проблематике, по охвату и сцеплению сцен, событий, главных и эпизодических персонажей. Она требует от читателя не просто внимательного чтения, но большой культуры, сосредоточенности ума и души, способности мыслить о России, ее прошлом, настоящем и будущем, о связи бытовой повседневности, «частной» жизни с событиями масштабными, социально-историческими.

Бунин пытался как можно шире, «всеохватнее» обозреть русскую жизнь. Место и время непосредственного действия повести – Дурновка и уездный город в годы революции и реакции (1904–1907) – постоянно раздвигаются. Другие деревни, города, усадьбы, станции, полустанки... слухи, споры, разговоры в трактирах, лавках, поездах, на базарах, постоялых дворах, на сходках, на праздниках... Мы узнаем, что свершается на Руси – столичной, деревенской, уездной. Злободневная современность (русско-японская война, революция, конституция, земельная реформа, реакция) соотносится с прошлым – близким и далеким – временами крепостного права, Киевской Русью Владимира и Ярослава и даже временами первобытно-языческими. А судьба братьев Красовых, Тихона и Кузьмы, других жителей Дурновки (Серого, Дениса, Молодой, Иванушки) дополняется, выверяется настроением и поведением многочисленных эпизодических лиц (их в книге более 100) – таких, например, как Балашкин, Сухоносый, крестьянин в трактире Авдеича, Аким и караульщики барского сада, спящие в холод на сырой соломе, хохлы, искусанные бешеным волком, сторож, странник, учитель, бунтовщики, каратели. Обилие персонажей являло собой ту разноликую многомиллионную Русь, о судьбе которой шла речь в книге.

При этом события, факты, лица были отобраны и освещены писателем так, что затронутыми оказывались чуть ли не все сферы и проблемы человеческого существования: будни и история, философия и политика, экономика и нравственность, религия и культура, быт и психология, семья и хозяйство, образование и право.

Эта слитность значительных событий времени, всего уклада русской жизни и вековечных проблем с историей, с поведением и умонастроением народа делала «Деревню» эпохальным произведением.

Короткий зачин повести – своеобразная родословная братьев

Красовых, прадеда которых «затравил борзыми барин Дурново»,– вводит нас в стремительный бег времени. Потомки недавних крепостных выходят на арену истории. Тихон Красов становится хозяином дурновского имения, а Кузьма – правдоискателем и даже «сочинителем». Коренные сдвиги в судьбе России зависят ныне от уклада народной жизни, от поведения и самосознания миллионов. Но подготовлен ли народ к исторической самодеятельности? «Рабство отменили всего сорок пять лет назад,– что ж и взыскивать с этого народа? – думает Кузьма.– Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!»

Мысль о неизжитом наследии рабства и об ответственности народа за свою судьбу, мучительные думы о беде и вине народной, о трагически кризисном состоянии русской жизни пронизывают всю книгу. Криком боли прорываются они в споре Балашкина и Кузьмы. Перечисляя злодеяния правящих кругов, по-своему повторяя мартиролог русской литературы, когда-то составленный Герценом: «Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев?» – Балашкин яростно вопрошает: «Скажешь,– правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?» – «Величайший народ, а не «такой»...– возражает Кузьма.– Ведь писатели-то эти – дети этого самого народа». Спор ничем не кончается. Бунин далек от поспешных и односторонних выводов. Он вовлекает читателя в круг нелегко разрешимых проблем и противоречий. Он прогоняет нас буквально сквозь строй социальной и бытовой нескладицы, почти неправдоподобной нищеты и отсталости. Но все картины бесправия, невежества, первобытно скудного быта пронизаны такой щемящей авторской болью, таким состраданием к замученному народу и таким мужеством и бесстрашием аналитической мысли, какие бывают лишь у мудрого врача, решившегося на мучительно спасительную операцию тяжело больного. Не осуждение и обличение водили пером Бунина, а желание трезво взглянуть на народ и Россию, бесстрашно разобраться в запутанности народной жизни, в невероятной сложности характеров и мировосприятия миллионов. «Деревня» была началом «целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы»,– замечал писатель.

Бытовая повседневность, уклад русской жизни и «основы души», психология, настроение, скрытые мотивы поведения людей, их отношение к миру, к самим себе – вот что подвергает пристальному исследованию художник.

Тихон и Кузьма – центральные фигуры. Незаурядные, сильные,

во многом разные натуры. Различны их пути – хозяина-торгаша и самоучки-правдоискателя. Но судьбы их родственны и даже типичны. Оба с великими тяготами пробивались в люди, не получив ни наследства, ни образования, ни навыков, ни семейных традиций. Но оба и надорвались. Итоги прожитой жизни плачевны у обоих.

Осмысление их печального опыта становится ведущим мотивом книги. Оно привносит животворное, одухотворяющее начало. Оно полезно для последующих поколений. Недаром Бунин подробно изображает Красовых в момент их кризисного состояния, тогда, когда пробудилось их самосознание, когда они стали способны к самоанализу, к воспоминаниям, к безжалостному подведению итогов, к резким суждениям о себе и окружающем мире, к сопоставлению своих деяний и устремлений с общенародной жизнью. Их резкие наблюдения, их мысли и чувства придают книге накаленность и масштабность, выводят героев из замкнутого существования на просторы общерусского бытия.

«Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет...»; «Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей,– ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе...»; «Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!» – так временами озлобленно думает Тихон Ильич.

Еще резче, острее мыслит и чувствует Кузьма. «Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал. Что ж, его история – история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества». «У, анафемы, до чего затоптали, забили народ!»... «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище – «депутат хотел реку отравить»... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего – несчастный!..»

Однако издерганные, недовольные, Тихон и Кузьма, оглядывая и оценивая пройденную жизнь, часто впадают в крайности, запутываются в обвинениях и самооправданиях. Их думы, их споры, их выводы о себе, о народе, о России нередко истеричны, крикливы, односторонни. Их нельзя целиком отождествлять с авторским взглядом на мир. Но в их резких, ожесточенных наблюдениях есть, несомненно, болевая, тревожащая часть правды. Авторское сознание вбирает боль и тоску героев, но и возвышается над ними, по-

стигая суть их трагедии, открывая их силу и слабость, светлые и темные корни их бытия.

Двойная система освещения – осуждения и оправдания – преобладает в изображении героев и всей народной жизни у Бунина, но не исчерпывает его. Аналитическое, исследовательское начало всегда господствует в искусстве Бунина над проповеднически-итоговым. Он ищет истоки, всматривается в запутанно-многословные причины народных бед и трагедий. Зависимость человека от быта, от окружения и от собственной души, от своих настроений, верований, устремлений – не в ней ли таится разгадка?

Быт, уклад и «основы души» – центральные, неразрывные проблемы повести. Они взаимозависимы, взаимопроникаемы. Быт неотделим от психологии, душа от быта... Здесь просматриваются вековые запутанные узлы поведения и характеров россиян.

Огромное количество бытовых сцен, деталей и подробностей не случайно в «Деревне», они не имеют самодовлеющего значения. Они исполнены большого социально-философского и психологического смысла. Криво проложенный мостик, кондуктор в шинели с оторванным хлястиком, в галошах, забрызганных грязью при ясном солнечном дне, городской охотник в болотных сапогах, хотя никаких болот поблизости не было, грязь вокруг богатого двора, заплеванный пол в трактире Авдеича, изъеденный молью салоп, которым дорожит Сухоносый, недостроенная кирпичная изба Серого, мальчишка, кричащий о всеобщей забастовке и торгующий старыми газетами, так как новые городовой отобрал, затхлый пруд, где моется голый мужик, а стадо коров отправляет свои нужды, свадьба Дениса и Молодой... Еще сотни таких деталей и эпизодов. Каждый из них мог бы разрастись в рассказ или повесть. Для Бунина это все явления одного плана. За ними встают и вековая отсталость и долготерпение народа, небрежение русского человека к себе, к хозяйству, быту, мечтательность и непрактичность, неумение соразмерить свои стремления, желания, способности с реальными возможностями, неумение выбрать дело по силам. А в результате – неустойчивость настроения, капризность, недовольство буднями, обыденным, озлобление, неумение додумать свои мысли или даже доспорить, выслушать, понять собеседника.

Сам писатель придавал огромное значение образу Серого – самого нищего мужика Дурновки. В его отношении к жизни, хозяйству, избе, людям, в трагически-анекдотическом поведении открывались Бунину какие-то роковые недостатки русских людей, общенациональные противоречия. Не случайно братья Красовы постоянно возвращаются мыслью к судьбе Серого, а Кузьма даже сравнивает себя с ним: «Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слаболен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы».

Нерасчетливость, непрестанное ожидание чего-то лучшего в жизни, своеобразная сказочная мечта о молочных реках и кисельных берегах подчеркнуты в поведении других героев и даже в массовых сценах. «Гуляет народ...– Надеется...– На что? – Известно, на что... На домового!» Позднее Бунин скажет о Сером: «сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа,– сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность – вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!» В невоспитанности, в невыработанности русского характера и в неустроенности, страшной отсталости быта видел Бунин самую большую беду России.

«Есть два типа в народе,– замечал Бунин.– В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа,– и дубина, и икона»,– в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев».

Высоко ценя Эртеля как писателя и человека, много добившегося путем самовоспитания и приобщения к высотам культуры, Бунин разделял его суждения о России: «Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления «царства божия», предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворить сознательный и твердо поставленный культурный быт».

«Деревня» сильна прежде всего предостерегающим словом писателя. Он уверен: жизнь народа и России нуждается в радикальных изменениях. Но многомиллионные массы, казалось ему, еще мало подготовлены к гражданской активности, к разумному устроению своей судьбы. Бунин видел и с беспощадным мужеством свидетельствовал, какую бездну преград еще предстоит одолеть русскому народу: не только экономических, бытовых, социальных и политических, но и нравственных, психологических – в способах мышления и чувств, в нравах и верованиях, привычках и побуждениях.

Сразу глубоко понял и высоко оценил «Деревню» Горький: «...так глубоко, так и с т о р и ч е с к и деревню никто не брал... Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее – и все это – ново. Т а к еще не писали». Значение бунинской книги Горький видел в том, что она заставила «разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над стро-

гим вопросом – быть или не быть России?», заставила «мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически»[1].

После жгуче-современной «Деревни» Бунин почти сразу стал писать «Суходол» – книгу об ушедших временах крепостного права, о жизни, оскудении и вырождении мелкопоместных.

В новой книге нет «густоты», перенасыщенности, нервозности «Деревни». Повествование в «Суходоле» более спокойно, уравновешено, поэтично. Суровая правда не лишала ее открытого лиризма, поэзии родного края. Прообразом Суходола послужило родовое имение Каменка, а в нравах и судьбах Хрущевых угадываются факты из истории предков Бунина.

Вглядываясь в прошлое, писатель стремился понять, почему так быстро исчезло, разорилось и выродилось целое сословие мелкопоместных дворян. Дело было не только в экономике, в отмене крепостного права. Бунин ищет корни более глубокие, его все больше и больше занимает национальная психология, «русская душа».

Размышления о суходольской душе, «над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта... древней семейственности», возникают в первой главе и, варьируясь, проходят через всю книгу, образуя философскую основу повествования.

Мотив удивления, тайны, странностей, которые предстоит разгадать, главенствует в повести. С первых же строк («В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу») автор вводит в сферу необычного, сложного, странного. Странной кажется привязанность Натальи, тети Тони и даже Аркадия Петровича, отца молодых Хрущевых, к Суходолу, к родовой разоренной усадьбе, где столько горя видели они. Странными были и взаимоотношения людей в Суходоле: дед был убит незаконным сыном своим, от несчастной любви сошла с ума тетя Тоня, нелепо погиб Петр Петрович. Странными, непонятными были характеры людей, совмещавшие в себе и доброту, беззаботность, мечтательность, и жестокость, своеволие, капризность, и смирение, долготерпение, покорность.

Русский характер... Основы души и поведения человека... Трудные, до сих пор до конца не познанные тайны человеческой психики затронул Бунин в «Суходоле». Потому, видимо, и волнует нас повесть сегодня, что не только о суходольцах, а об истоках и основах национального характера, о человеческих страстях вообще размышлял писатель.

Тоном повествования, богатством интонаций и даже сменой

[1] «Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина». – «Горьковские чтения 1958–1959». М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 52, 53.

голосов (рассказ ведется то от автора-рассказчика, то от Натальи, то от молодых господ) настраивал писатель на многосложное восприятие суходольской жизни – аналитически-трезвое и поэтически-трепетное, взволнованное. В «Суходоле» легко, непринужденно подхватываются и развиваются разные темы, а глубина постижения их во многом зависит от соразмышления и соучастия читателя, к которому обращены и недоуменные риторические вопросы, и развернутые лирические отступления, и сложный ряд ассоциаций, деталей-лейтмотивов, образов-обобщений. Каждая из десяти глав имеет свой сюжет, свои ведущие и побочные мотивы, свою тональность, ритм, образный строй, даже лексику.

Дыханием вековой старины пронизаны первые три главы, образующие эмоционально-философское вступление к суходольской летописи. Сказочно-древняя Русь с ее преданьями, поверьями, песнями. В них – вся история и душа народа, ибо все другое, содеянное им, исчезало бесследно: выращиваемый хлеб съедался, выкопанные пруды высыхали, жилища не раз сгорали дотла. А где царят легенды, песни, сказки, непознанные силы природы – там нередко возникают романтические, экзальтированные чувства.

Суходол как символ русского бытия и дворовая Наталья, взращенная поэзией и дикостью суходольской, – два вершинных образа, в которых сказалось сложное представление Бунина о России и русском характере. Суходольская жизнь полна ужасов и дикости. Но есть в ней и другое – поэзия, красота, беззаботность, старина, очарование степных просторов, их запахов, красок, звуков. Хранительница многих преданий и талантливая сказительница, Наталья пополняет характеры женщин, воспетых русской литературой. Однако Бунин и здесь вносит свои коррективы, изображая Наталью «во всей ее прекрасной и жалкой душе». Воспринимая мир и любовь по сказочно-романтическим и религиозно-первобытным канонам, Наталья все силы своей богатой натуры растрачивает впустую, наполняет жизнь призрачными, выдуманными чувствами, добровольно принимает роль великомученицы.

Особенно поражают взаимоотношения Натальи и тети Тони, Натальи и циника Юшки. Невольно думаешь: до каких немыслимых границ могли доходить безропотная покорность одних и наглая требовательность других!

Своеобразной кульминацией повести становится восьмая глава, где появляется целый ряд колдунов, юродивых, божьих угодников, странников, бродяг – многоликих представителей древней и полудикой Руси. Все они, как и суходольцы, «играли роли» – одни, действительно используя силу заговоров, заклинаний, примет и причитаний, глубоко веруя в целебность первобытного волхвования, другие, своекорыстные, притворялись блаженными и святыми,

используя слепую веру окружающих в угоду своей праздности и лени. Среди них выделяется Юшка, бездельник, циник, охальник,– символически зловещая фигура тех деспотически-своевольных сил, которые расчетливо пользуются радушием, жалостью, добротой и безграничным терпением наивных простолюдинов.

Дворянин по происхождению, влюбленный в поэзию дворянской старины, Бунин безжалостно разрушал поэтические легенды о дворянских усадьбах, о старой, патриархальной, будто бы домовитой Руси. «Мы знаем дворян Тургенева, Толстого,– говорил писатель.– По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры». Суходольские дворяне – совсем иные. Семейная хроника Хрущевых свидетельствовала, что ни порядка, ни домовитости, ни подлинного хозяина не было в Суходоле. «У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться». Изнутри рушились крепостнические устои. «По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели».

«Веси, грады выхожу, Русь обдумаю, выгляжу», «Не прошла еще древняя Русь» – такими эпиграфами открывал Бунин два сборника рассказов, созданных после «Деревни» и «Суходола». Его попрежнему волновали думы о России, о народе, о русском характере. Сознанию и творчеству писателя был созвучен «один из последних заветов Гл. Успенского: «Смотрите на мужика... Все-таки надо... Надо смотреть на мужика».

Хорошо знавший реальную деревенскую жизнь, Бунин буквально приходил в ярость от надуманного, недостоверного изображения народа, от головного, книжного сочинительства. Негодование писателя прорывалось в письмах, газетных интервью, публичных выступлениях. «А ведь теперь,– писал он в 1915 году,– дела стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках – по извозчикам и дворникам, о солдатах – только одно: «так что, ваше благородие», говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый, утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются».

Бунин отвергал как старонароднические, так и неонароднические умозрительные пророчества: «Все эти разговоры о каком-то самобытном пути, по которому Россия пойдет в отличие от евро-

пейского Запада, все эти разговоры об исконных мужицких началах и о том, что мужичок скажет какое-то свое последнее мудрое слово – в то время, когда мир тяжело нести вперед по пути развития техники,– все это чепуха, которая тормозит дело».

Рассказы Бунина, как и его повести, отличались острой полемичностью, беспощадной правдивостью и – главное – глубиной проникновения в сокровенные тайны национального бытия.

Казалось бы, писатель повествует о давно известном, даже привычном: обыкновенные крестьяне, будничные дела и заботы, встречи, разговоры, воспоминания, скудный быт, нищета, несправедливость, жестокость одних и долготерпеливость, покорность, незлобивость других.

Однако незамысловатую жизнь крестьян Бунин изображал как бытийно значительную, таящую загадки общерусские, психологические, философские. Готовя к изданию сборник «Иоанн Рыдалец», Бунин писал в 1913 году: «Будут в этой книге и иного рода рассказы – любовные, «дворянские» и даже, если хотите, «философские». Но мужик опять будет на первом месте – или, вернее, не мужик в узком смысле этого слова, а душа мужицкая – русская, славянская».

Мало найдется книг в литературе, где бы обычная крестьянская жизнь была возведена до высокого философского и общезначимого смысла. Чуткие современники именно так воспринимали рассказы Бунина. «Иоанн-рыдалец, как это просто, прекрасно, правдиво рассказано Вами,– говорил Горький.– Это вы, это я, это все мы, вся русская литература рыдает денно и нощно, оплакивая злодеяния своих иванов грозных, не помнящих себя в гневе, не знающих удержу своей силе. Вот мне бы хоть один такой рассказец написать, чтобы всю Русь задеть за сердце» [1]. Однако до сих пор «крестьянские» рассказы писателя воспринимаются поверхностно. Их еще слишком привязывают к прошлому, к прошедшей «злобе дня». Меж тем в них, как во всяком большом искусстве, нет последнего итога, в них – глуби и дали времен. Они открыты будущему, обращены к близким и дальним поколениям.

Русский крестьянин и русская нация в массе своей предстают в рассказах Бунина как богатая, но невозделанная почва. На ней появляются сильные побеги, но, не получая необходимой культурной подкормки, вырастают дичками или погибают, не успев расцвесть.

Таковы многие бунинские персонажи – колоритные, яркие, своеобычные, мечущиеся в поисках смысла жизни и применения

---

[1] А. А. Золотарев. Бунин и Горький. – «Наш современник», 1965, № 7, с. 103.

своих недюжинных сил: богатырь Захар Воробьев, вся душа которого, «и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига», бескорыстная Анисья, способная к великой самоотверженной любви, и ее талантливый, но непутевый сын Егор («Веселый двор»), трудолюбивый Авдей Забота («Забота») или Зотов, «брянский мужик», необыкновенно талантливый самородок, прошедший путь от мальчишки на побегушках при купеческом амбаре в Москве до высокой правительственной службы и торговых занятий на Цейлоне («Соотечественник»). О них можно сказать словами из письма Бунина по поводу его летних странствий 1914 года: «...опять всем нутром своим ощутил я эту самую Русь... опять сильно чувствовал, как огромна, дика, пустынна, сложна и хороша она».

Бунин умел в незамысловатой судьбе, эпизоде, даже разговоре открыть мгновенное и вечное, прекрасное и трагическое, злое и доброе, высокое и низкое. Один или несколько дней из жизни крестьянина раскрывали не только сложность его судьбы, характера, мышления, но и взаимосвязь, взаимозависимость человека и окружающего мира – природного, социального, бытового, исторического. В таком широком плане даны Захар Воробьев и Аверкий, Авдей Забота и лирник Родион, коновал Липат и Зотов.

Вслед за Чеховым Бунин обновлял жанр рассказа, он упрощал событийный сюжет, лишал рассказы внешней занимательности. Рассказы Бунина раздвинуты во времени и пространстве. Они вмещают большое количество эпизодических лиц, конкретных деталей. Ассоциативное сопоставление их углубляет рассказ, вносит дополнительные смысловые оттенки, которые придают частному факту, событию или состоянию широкий общезначимый интерес. В центре рассказа – не только судьба героя, но и общее состояние жизни, многосоставность, многоплановость бытия.

Как, например, духовно приподнят, опоэтизирован мужик в рассказе «Худая трава». Умирающий Аверкий вспоминает прожитую жизнь, пытается осмыслить ее, но не находит для того нужных слов и понятий. Бунин своим искусством заставляет ощутить его человеческую глубину, трудность и праведность его существования. Мы видим, сколько мук, тревог и горя пережил Аверкий, не растеряв при этом доброты, смирения, душевной красоты, ощущения высокого смысла бытия. Недаром сам Бунин сказал о рассказе – «мужицкий Иван Ильич». Философская и социально-нравственная проблематика роднит его с рассказами Л. Толстого, выводит к думам о смысле и сложности мирозданья.

Высокое ощущение лада – единения с миром, собой, природой – владело пером Бунина, когда он создавал такие поэтические вещи, как «Лирник Родион», «Пост». В них – представление о должном, духовно-творческом состоянии человека, к которому всегда стре-

мился художник. Радостное любование красотой, неповторимостью земного мира и человеческой души, высота нравственных требований и устремлений проникали в самые мрачные бунинские рассказы, спасая от уныния и пессимизма.

Стремление к совершенству определяло и словесную магию бунинского искусства. Обостренность его взора, слуха, обоняния общеизвестны. Звук, свет, цвет, запахи, краски, формы, самый ритм жизни Бунин передавал так, что в восторг приводил самых искушенных любителей слова. Но как страдал художник, когда лишь только блестящую изобразительность, меткость слова ценили в его искусстве. Бунин избегал прямого выражения авторских мыслей и чувств, риторической назидательности. Но глубина постижения мира, свет авторского отношения окрашивали все в его книгах – первую фразу, которой Бунин всегда придавал «решающее значение», тон, ритм, мелодию повествования, отбор деталей и подробностей, их сочетание, сцепление и сопоставление. Так рождался бунинский стиль – сдержанный, но не бесстрастный, а внутренне напряженный, звенящий каждым словом.

Бунинское слово прекрасно потому, что оно полновесно, оно выстрадано и выношено умом и сердцем мыслителя, философа, поэта. Бунин никогда не играл словом, не искал новых сногсшибательных словообразований, чем грешили некоторые символисты, акмеисты, футуристы и их позднейшие эпигоны. Слово у Бунина не гремит, как погремушка, оно – живое, музыкальное. В нем – перезвон колоколов и колокольцев, что отлиты умелыми мастерами, где только им известный сплав металлов, меди, олова и серебра.

В бунинском слове, как в колокольном звоне, – своя энергия, свой сплав поэзии и прозы, мужества и сердечности, сострадания и гнева, восхищения и негодования, веры и сомнений.

Бунин всегда трепетно, молитвенно относился к слову. В годы словесного блуда, «в дни злобы и страданья» писатель звал беречь «наш дар бессмертный – речь». Он верил:

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.

Л. Крутикова

ДЕРЕВНЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

НА КРАЙ СВЕТА

I

То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.

Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село – его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в солнечное воскресное утро, когда кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира, а важные волы, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвой над криницею, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло родину для далеких уссурийских земель и ушло «на край света»...

Когда на село, расположенное в долине, легла широкая прохладная тень от горы, закрывающей запад, а в долине, к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки и за рекой как золото засверкали равнины песков, народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.

Там, под открытым небом, между нагруженных телег, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и раздельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца...

Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то снаряженные в далекий путь «лыцари». Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная «дума» о том, «як на Чорному морі, на білому

камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібненько квилить-проквиляє...». Многих из них ожидали «кайдани турецькії, каторга бусурманськая», и «сиві тумани» в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут «на чорнії кудрі наступати, з лоба очі козацькії видирати...». Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самом себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе...

А потом поднялись вопли. И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине – и скрылся... И сам обоз скрылся наконец за хлебами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца...

II

Провожавшие возвращались домой.

Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно. Но таких было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и дивчата.

Вот две спускаются под гору, по каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то в даль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет... Обе наряжены по-праздничному, но как горько плачет одна, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол... Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на реку с ведрами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места! А потом...

– Прокинулись сю ніч, – говорил Юхым растерянно, – прокинулись вони, Зинька, та й кажуть: «Їдемо на переселення!» – «Як же так, тату, вы ж казали...» – «Ні, кажуть, я сон бачив...»

А вот на горе, около мельниц, стоит в толпе стариков

старый Василь Шкуть. Он высок, широкоплеч и сутул. От всей фигуры его еще веет степной мощью, но какое у него скорбное лицо! Ему вот-вот собираться в могилу, а он уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел, он еще крепок, но где же взять эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения идти на новые земли?

Старики, рассеянно переговариваясь, каждый со своей думой, стоят на горе. Они все глядят в ту сторону, куда отбыли земляки.

Уже давно не стало видно и последней телеги. Опустела степь. Весело и кротко распевают, сыплют трели жаворонки. Мирно и спокойно догорает ясный день. Привольно зеленеют кругом хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами необъятным полукругом простерся горизонт, между землей и небом охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса далекого моря.

«Що воно таке, сей Уссурійський край?» – думают старики, прикрывая глаза от солнца, и напрягают воображение представить себе эту сказочную страну на конце света и то громадное пространство, что залегает между ней и Великим Перевозом, мысленно увидать, как тянется длинный обоз, нагруженный добром, бабами и детьми, медленно скрипят колеса, бегут собаки и шагают за обозом по мягкой пыльной дороге, пригретой догорающим солнцем, «дядьки» в широких шароварах.

Небось и они все глядят в эту загадочную голубоватую даль:

«Що воно таке, сей Уссурійський край?»

А старый Шкуть, опершись на палку, надвинув на лоб шапку, представляет себе воз сына и с покорной улыбкой бормочет:

– Я йому, бачите, і пилу і фуганок дав... і як хату строїть, він тепер знає... Не пропаде!

– Багато людей загинуло! – говорят, не слушая его, другие. – Багато, багато!

III

Темнеет – и странная тишина царит в селе.

Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву глубокой долины, затушевывают эту огромную

картину широкой низменности с темными кущами прибрежных рощ, с тускло блестящими изгибами речки, с одинокими тополями, что чернеют над долиной. Старинный Великий Перевоз сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекой пески. За песками, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается с сумеречными небесами.

Все как всегда бывало в этой мирной долине в летние сумерки... Но нет, не все! Много стоит хат темных, забитых и немых...

Уже почти все разбрелись по домам. Пустеет дорога. Медленно бредет по ней несколько человек, провожавших переселенцев до ближнего перекрестка.

Они чувствуют ту внезапную пустоту в сердце и непонятную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека после тревоги проводов, при возвращении в опустевший дом. Спускаясь под гору, они глядят на село другими глазами, чем прежде,– точно после долгой отлучки...

Вот расстилается пахучий дымок над чьей-то хатой... покойно и буднично...

Вот красной звездочкой, среди темных садов, среди скученных дворов, загорелся огонек...

Глядя на огоньки и в долину, медленно расходятся старики, и на горе, близ дороги, остаются одни темные ветряки с неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идет под гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческого горя, Василь Шкуть. Медленно отложил он калитку, медленно прошел через дворик и скрылся в хате.

Хата родная. Но Шкуть в ней больше не хозяин. Ее купили чужие люди и позволили ему только «дожить» в ней. Это надо сделать поскорее...

В теплом и душном мраке хаты выжидательно трюкает сверчок из-за печки... словно прислушивается... Сонные мухи гудят по потолку... Старик, согнувшись, сидит в темноте и безмолвии.

Что-то он думает? Может быть, про то, как где-то там, по смутно белеющей дороге, тихо поскрипывает обоз?–Э, да что про то и думать!

Звонкий девический голос замирает за рекою:

Ой, зійди, зійди,
Ясен місяцю!

Глубокое молчание. Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный силуэт неподвижного тополя рисуется на фоне ночного неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звезды сияют сквозь листья и ветви...

IV

А они еще недалеко.

Они ночуют в степи, под родным небом, но им уже кажется, что они за тысячу верст ото всего привычного, родного.

Как цыганский табор, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга...

Наконец все стихло.

В звездном свете темнели беспорядочно скученные возы, виднелись фигуры лежащих людей и наклоненных к траве лошадей. Сторожевые, с кнутами в руках, сонно ежились возле телег, зевали и с тоской глядели в темную степь...

Но с какой радостью встрепенулись они, когда услыхали скрип проезжей телеги! Земляк! Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лет.

Разбуженные говором, подымались с земли и другие и, застенчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телеги проезжего, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самого света...

Потом опять все затихло.

Взволнованные встречей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали об одном,– о далекой неизвестной стране на краю света, о дорогах и больших реках в пути, о родном покинутом селе...

Холоднело. Все спало крепким сном – и люди, и дороги, и межи, и росистые хлеба.

С отдаленного хутора чуть слышно донесся крик петуха. Серп месяца, мутно-красный и поникший на сторону, показался на краю неба. Он почти не светил. Только небо около него приняло зеленоватый оттенок, почернела степь от горизонта, да на горизонте выступило что-то темное. Это были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги.

Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же – снова волноваться

и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти курганы.

Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!

1894

СВЯТЫЕ ГОРЫ

I

Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых Горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи.

Ранним утром великой субботы я был уже под Славянском. Но до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители.

Предо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просушивал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. Но за мной, на западе, картинно рисовалась на горизонте гряда меловых гор. Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро чернью, она тонула в утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу, холодил лицо, рукава, степь увлекала, завладевала душой, наполняла ее чувством радости, свежести.

За курганом блеснула круглая ложбина, налитая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских болотцах; над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголевато и легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. Он расплывался на два холма и, словно поблекшей скатертью из мутно-зеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах – жалкие остатки ковыля. «Время его, – подумал я, – навсегда проходит; в вековом забытьи он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шепот, полный от века задумчивости

пустыни, так много говорящей без слов о ничтожестве земного существования».

Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полей уже тянуло теплом. Облака светлели, таяли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенном парами и светом, заливались над степью безотчетно-радостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя бесконечно счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом»,–это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря,–может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустели его разбитые стены! Сколько претерпел он, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей!

Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение волов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ярмом, медленно тащились по дороге, разогнали мои думы. Я зашагал еще поспешнее.

Полоса леса серовато чернела вдали. Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени.

Скоро, однако, в пролете лесной дороги снова проглянула просторная, вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной. Монастыря же все не было.

Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую, свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.

– Тату!–сказала она мужику, обращая его внимание на меня.

Он остановился.

–Эта дорога на Святые Горы?–спросил я.

– А куды вам треба?
– В монастырь.
– Якій монастырь?
– Да вы разве никогда не были на Святых Горах?
– В якономії?
– Да не в экономии, а в самом монастыре, в церкви.
– У церкві? Та у нас своя церква на селі.
– А в монастыре?
– Та був, ще хлопцем. Тоді чума на скот була, так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От і ходили усі, у кого скотина боліла; звісно, молебствіє служили і в село привозили того інока. Ну, походив він по дворах, покропив водою, а про те нічого не помоглось.
– Так это дорога туда?
– Эге ж...

И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом.

Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой звездой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец.

Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой,– Донец был в разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно... Потом я обгонял идущий на богомолье народ – женщин, подростков, дряхлых калек с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому... Откуда она и что она значит?

Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.

Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже,

а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы – все скученное, картинно сокращенное отдалением,– и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним...

II

Донец под Святыми Горами быстр и узок. Правый берег его возвышается почти отвесной стеной и тоже щетинится лесной чащей. Под ним-то и стоит белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полугоре, белея в зелени леса, висят два меловых конуса, два серых утеса, за которыми ютится старинная церковка. А еще выше, уже на самом перевале, рисуется в небе другая.

С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел. Солнце медленно уходило за горы; широкая тень стлалась по Донцу от них. По каменному двору обители, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах. И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью – от этих картинок, изображающих скиты и кельи отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных поучений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой и ветхой ступеньки. В полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих и молчаливых схимников...

Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный хребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий

крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина – все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом, выходил он на божий день, на дневную работу, и опять кротко и тихо было в его сердце...

Глубоко внизу подо мною все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже начиналась сдержанно радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал и под карнизами церковки, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва сливались в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя...

Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящиком с свечами. Два-три огонька чуть потрескивали... Поставил и я свою свечу за того, кто, слабый и преклонный летами, падал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители...

III

Утро было праздничное, жаркое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, и солнце, и тени, и быстрая речка – все было так прелестно в это милое утро...

Я побывал в скиту – там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище,– и стал взбираться в гору.

Взбираться было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве, гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из-под ног. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мною, как хороша была с этой высоты долина, темный бархат ее лесов, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какою горячею жизнью юга дышало все кругом! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!

А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов. И, отдыхая на них, один одинешенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля...

1895

МЕЛИТОН

Были светлые майские сумерки, я ехал верхом по нашему Заказу. Лошадь шла узкой дорогой среди свежей поросли осин и орешника. Кругом все было молодо, зелено, соловьи нежно и отчетливо выщелкивали по сторонам, перекликались друг с другом. Уже давно село солнце, но лес не успел еще стихнуть: горлинки журчали где-то вблизи, кукушка куковала в отдаленье... В майские ночи сон слаб и недолог, до рассвета брезжит, заря зарю встречает.

Я выехал к поляне, где стояла караулка. В лощине за поляной лежал большой, полноводный пруд. Над прудом, над столетними березами и дубами, окружавшими его, слабо означался бледный и прозрачный круг месяца. А возле пруда на пне сидел Мелитон и кидал сухие прутья в жаркий и проворный костерчик, разведенный в земляной печурке под котелком, висевшим в ней. Как всегда, очень чисты были его заплатанные портки и рубаха, ладно подвязаны онучи. Он сидел, поставив на колени локти, положив лицо в ладони, смотрел на огонь, а сам напевал что-то тихим и тонким, совсем женским голосом.

– Ай карасиков наловил, Мелитон? – спросил я, соскакивая с лошади.

Он поднялся, вытянулся во весь рост, с той особой выправкой, что присуща была когда-то только николаевским служакам, и тотчас принял бесстрастное выражение, как бы стараясь скрыть постоянную печаль своих бледно-бирюзовых глаз. Росту он был высокого, телом худ и костляв. Серые густые брови и такие же усы, на щеках сходившиеся со щетинистыми баками, придавали ему вид суровый, но лысина, эти бирюзовые глаза и чистая крестьянская рубаха, свидетельствующая о готовности лечь «под святые» когда угодно, говорили о кроткой, отшельнической жизни.

Когда картошки в чугунчике стали сипеть и бурлить, он потыкал в них щепочкой и снял чугунчик с огня. Огонь стал потухать, – только красная грудка жара светилась в землянке. Возле нее пахло сгоревшей дубовой листвой, а когда старик стал чистить картошки, запахло так вкусно, что я попросил и себе парочку. И мы молча стали ужинать возле неподвижного стемневшего пруда, в тишине и сумраке все еще не гаснувшей весенней зари. Закат за деревьями вправо алел нежно и тонко, и казалось, что там уже рассветает.

– Мелитон, – спросил я с юношеской простодушностью, – правда, тебя сквозь строй прогоняли?

– Правда-с, – ответил он просто и кратко.

– А за что?

– А, конечно, за глупость, за провинности...

Он ушел в избу, а я долго сидел один, глядя на тлеющие угли. Появился он из сумрака неслышно и принес с собой еще один ломоть ржаного хлеба, ножик, сделанный из старой косы, и горсть крупной соли. Ласково и нервно виляя хвостом, прибежал за ним Крутик, маленький, веселый, но отчаянно злой, несмотря на свою веселость. Он тоже сел возле печки, с удовольствием зевнул, облизнулся и стал следить глазами за каждым движением Мелитона, круто солившего хлеб. Соловьи по-прежнему пели страстно и звонко, нежно и удало.

– Ведь ты совсем одинокий? – спросил я.

– Совсем-с. Была жена, да уж так давно, что и не вспомнишь.

– А дети?

– Были и дети-с, да их тоже бог прибрал в свое время...

И он опять замолчал, со старческой неспешностью пережевывая хлеб. Я вглядывался в движения его морщинистых

щек, в его опущенные веки, стараясь проникнуть в тайну его печальной молчаливости. Он кротко и беспомощно взглянул на меня,– я отвернулся. Было мне тогда двадцать лет, все умиляло меня: лес, небо, караулка, пучки каких-то трав и венчиков в ее сенцах под крышей, между сухой листвой решетника... На ногах Мелитона лыковые лапти, думал я, на теле замашная рубаха... Как это чудесно – жить такой чистой, простой, бедной жизнью! И эти венчики – для кого он собирает, вяжет их? Венчики еще более тронули меня, и я сказал, подымаясь:

– Совсем у тебя скит, Мелитон!

Он ласково и грустно улыбнулся.

– В скиту часовенки бывают-с,– сказал он, бросая корку Крутику, и залил водой из чугунчика угли.

Они зашипели и померкли. И тотчас же стало видно, что в лесу уже светлая, лунная ночь, что поляна освещена сияющим месяцем, что чащи леса почернели и отделились от нее. Крутик, как только поужинал коркой, тотчас же принялся за свое ночное дело. Он с звонким лаем хлопотал то там, то здесь за караулкой, и было похоже, будто весь лес полон злыми и неугомонными собачонками. Мелитон зажег в избе лампу, настилая мне на конике сена,– окошечки под ее старой нахлобученной крышей засияли, как два золотые глаза. Потом он вынес лампочку в сенцы. Я вошел туда, и он опять улыбнулся мне.

– А то вот-с на коечку ложитесь,– сказал он, кивая на свою кровать.

В углу возле входа было устроено нечто вроде койки на высоких ножках из березовых поленьев. На ней было тоже настлано сено, прикрытое попоной и возвышавшееся к изголовью.

– Да какой теперь сон,– сказал я,– скоро уж и светать станет.

– Скоро-с,– согласился Мелитон бесстрастно.

И правда, мы только подремали. В темной избе было тихо, приятно, в окошечки виднелись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мне спать: достаточно было тонкого напева комара, чтобы очнуться. Я слушал Крутика, соловьев, думал о чем-то, чего не вспомнишь, как всегда в бессонную ночь... Не спал и Мелитон. Его донимали блохи.

– Ну, уж погоди, погоди, отучу я тебя спать под койкой! – бормотал он изредка, разумея Крутика.

Потом он кашлял, вздыхал, шептал что-то... Наконец

я услышал его шаги под окнами. Я высунулся из окна на прохладу ночного воздуха. Мелитон меня не замечал. Он сидел на пороге, опустив голову, не спеша растирал на ладони листовой табак и опять напевал грустным женским голосом.

– Ах, господи-батюшка! – прошептал он с глубоким вздохом, покачивая головой и высекая огонь. И, закурив трубку, оперся на руку и запел внятней, задушевней.

Слышно было, что рассказывал он в песне про какие-то зеленые сады, с добрым укором напоминал кому-то те места, где «скончалась-распрощалась, ах, да прежняя любовь...». Ночь сияла. Месяц выбрался на самую середину неба, стал над самым прудом. Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно там вился серебристый уж. У противоположного берега воды как будто не было. Там была светлая бездна в другое, подземное небо. Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше, стройнее, чем днем. Но еще лучше был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя в эту бездну вершинами. А вдали, за лесом, небо уж стало стеклянно-зеленое, там, в полях, начали свежо и отчетливо бить перепела... Я закрыл глаза. Когда же очнулся, был уже день. Пруд весь дымился, поляна поседела от крупной росы, лес, похолодевший, свежий, как будто еще недвижней стоял вокруг пруда. А потом в окна потянуло влажным ветром, в пруде заквакали лягушки, и петух, сильно и выпукло захлопав крыльями, заорал в сенцах хриплым басом. Мелитон, согнувшись, шел к избе от пруда с полным, тяжелым ведром, из которого плескалась вода, и оставлял за собой длинный ярко-зеленый след по седой траве...

В последний раз навестил я Мелитона как-то прошлой зимой. Помню, день был хмурый, туманный, густой иней пара стоял на деревьях. Я ездил на станцию за почтой, потом, выехав со станции, уже в сумерки, перевалив с ее двора через сугроб на выезд в поле, решил свернуть к Заказу. Быстро темнело. Лошадь моя от инея вся посерела и закудрявилась, ресницы и усы у меня вскоре стали такими же. В поле сперва ничего нельзя было разглядеть даже в двух шагах – только серая, дикая мгла. Но вот в этой мгле стало светлеть и светлеть. Пробиваясь сквозь нее малиновым шаром, стал подыматься вдали большой месяц, пополам перерезанный длинной лиловатой тучкой. Подымаясь, он оставил эту тучку ниже себя, а сам становился все ярче, золотистей. Когда же я подъехал к Заказу, въехал в тень,

далеко лежавшую от него по полю и испещренную узорами света, все уже блистало в полях и в Заказе как бы в некоем сказочном царстве. А потом дивной красной звездой засветился огонек в караулке и по всему чуткому, морозному лесу пошел звонкий, разбегающийся по чащам лай Крутика.

У дубка перед караулкой я привязал лошадь. С дубка бенгальским огнем посыпался иней. Я постоял и послушал глубокую тишину леса, потом осторожно подошел к завалинке караулки и заглянул в полузамерзшее окно. И глухая, отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей святой суровостью. В глубине слабо освещенной, дочерна закопченной избы он стоял перед дощечкой иконы в углу и, закрыв глаза, кланялся ей то до земли, то в пояс. Видно было, что он только что выкупался,– редкие волосы его были мокры и причесаны, подбородок чисто пробрит, длинная белая рубаха распоясана. Порой он закидывал голову назад и долго, долго стоял так с закатившимися под лоб глазами...

Говорил он в тот вечер опять мало, был особенно тих и ласков. В избе было тепло и сыро, как в бане; я скинул шубу и сидел на лавке. А он тянулся, стоял передо мною, отвечал не спеша и все опускал веки. Наконец, уже собираясь уезжать, я как будто мимоходом спросил:

– Мелитон, отчего ты всегда такой скучный?

Он удивился.

– Я-с?–спросил он растерянно.–Я ничего-с... Известно, старость...

– Или горе у тебя какое?–сказал я, глядя ему в глаза.

– Избави бог-с!–сказал он поспешно.–Я караулю-с...

– Да нет, я не про то,–сказал я, смутившись.–Я так спросил...

Он понял, успокоился и нежно улыбнулся, прикрывая глаза.

– А я думал, обида какая-с,–сказал он.–А что я не веселый, так какое же мне теперь веселье? Да и грехов много-с.

– Какие же у тебя грехи, Мелитон!

– Грехи-с у всякого есть,–сказал он серьезно.–На то и живем-с, чтобы за грехи каяться.

– Да ты и то как святой живешь. Ты вон постишься целый век.

Он опять удивился и даже слегка нахмурился.

– Ем-с, как все,–сказал он скороговоркой.–Едят и хуже моего, да и то не гневят бога жалобой.

– Ну, коли так, будь здоров, до свиданья,– сказал я, надевая шубу, поднимаясь и отворяя дверь на морозный воздух лунной ночи.

Морозило крепко, и Большая Медведица бриллиантами висела по небу над снежной поляной. Мелитон без шапки и в одной рубахе стоял на пороге.

– Прощай, Мелитон,– сказал я, садясь в сани.– Иди в избу, простудишься!

– Никак нет,– ответил он.– Счастливой дороги-с...

Лошадь в светлом поле бежала шибко и бодро, полозья пели и визжали, ветер обжигал лицо, сковывал усы, ресницы. Я отвертывался от него, прикрываясь пахучим на морозе енотовым воротником.

1900–1930

СОСНЫ

I

Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи...

Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году...

«Чем не сказочный бор?» – думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.

– Есть ли жив-человек в этих хижинах? – говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.

Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-Яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»

Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган

гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью... И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.

В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне,– не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.

Ходит сон по сеням,
А дрема по дверям,–

поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.

Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза.

– Спите?– спрашивает Федосья осторожным шепотом.

– Нет... А что? Это ты, Федосья?

– Я-с,– отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный.– Ай я вас разбудила?

– Нет... Ты что?

Вместо ответа Федосья оборачивается к двери,– хорошо ли притворила?– и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.

– Там пыль! – говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке. – Что, давно вечер-то по часам?

– Половина десятого.

Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:

– Ах, господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут – замерзнут!

И вдруг быстро прибавляет:

– Постойте, – в каком ухе звенит?

– В правом, – отвечаю я. – Нынче они не поедут...

– Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о вьюге, Федосья начинает:

– Так-то на со́роки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось...

Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве, – певуче и глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне сказки, – не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша...»

Лес гудит, точно ветер дует в тысячу эоловых арф, заглушенных стенами и вьюгой. «Ходит сон по сеням, а дрема по дверям», и, намаявшись за день, поевши «соснового» хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых ты, господи, веси!

Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.

– Ох, господи! – говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь. – Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? – прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.

– Рано еще...

– А мой сгад – нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.

– Хорошо у нас! – говорил он мне часто. – Главное дело – лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на бога жаловаться некуда: есть лес – в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился... Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной – и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по лесу – лес из лесу выходит, синеет, а там прогалина, крест из села виден... Придешь, заснешь – глядь, уж опять утро и опять пошел на работу... была бы шея – хомут найдется! Говорят – живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить, – не знает. Видно, живи, как батрак: исполняй, что приказано, – и шабаш.

И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу – Митрофан шел беспрекословно... И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы, – перед смертью.

– За траву не удержишься! – говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу.

И кто знает,– не прав ли был он?

«Умер, погиб, не выдержал,– значит, так надо!»– думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.

В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют,– совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона божией матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу...

На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох, как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть... Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная, куда...

Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что в конце ее, у плоского болотного озерка, теперь занесенного снегом,– изба Митрофана. И я иду,– долго, упорно и мучительно,– и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь,– собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом, и читает псалтирь. В глубине избы, на нарах, видны в полумраке фигуры спящих баб и детей...

II

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запушенный морозом, и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи

елей,– синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

Приехали братья из города. Они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою, в комнатах нахолодилось и металлически запахло морозным воздухом.

– Градусов сорок будет! – с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое,– по голосу чувствуется, что оно задеревенело от морозу,– усы, борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки...

– Митрофанов брат пришел,– докладывает Федосья, просовывая голову в дверь,– тесу на гроб просит.

Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила?.. Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса наши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий остистый иней садится на ресницы.

– Ну, и денек господь послал! – говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, щурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль просеки и глубокое ясное небо над нею.– Эх, кабы и завтра-то так же! Ладно бы похоронили!

Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас!» – и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет приседая, приноравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув

почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку густо-зеленой, стройной ели, закачалась, едва не потеряв равновесия,– и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла... Солнце поднимается, и все тише становится в просеке...

После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные, белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом. Мальчишки возят друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб... Совсем дикарская деревушка! Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенец... Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке идет за водовозкой. В обмерзлой кадушке тяжко плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, полозья визжат, как поросенок... Но вот и изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая, и как все буднично вокруг нее! Лыжи стоят у дверей в сенцы. В сенцах дремлет и жует жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подалась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает наконец, и в лицо пахнуло теплым избяным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, пристально глядя на покойника, шепотом переговариваются. А покойник под коленкором лежит в этой напряженной тишине и слушает, как плаксиво и жалостно читает псалтирь Тимошка.

– Совсем талый!– с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор.

О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался; большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закаменела, и ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку,– видно, как тяжела эта ледяная рука,– подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен

и торжественен сегодняшний день,– его последний день в родной деревне?

День этот кажется очень долог в мертвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый, парчовый луч уже скользнул в полутемную избу и косо озарил лоб покойника. Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск.

Опять я бреду вдоль просеки. Снега на поляне и крыши изб, которые точно облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чувствуется, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она подымается все выше... Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскакивая, вся в снегу, из его таинственно-светлых и темных дебрей, замирает вместе с своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко... В деревушке – ни звука, робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана... И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездою у божьего трона, с высоты которого господь незримо присутствует над снежной лесной страной...

III

А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу.

Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков тускло поблескивали на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались,– только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока, наконец, увидал среди белой сельской улицы белые зипуны и белый большой гроб из нового тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахнуло холодом: бедная лесная церковка промерзла вся насквозь,– весь иконостас и все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжелый разлатый гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый ко-

ричневый нос и лоб в венчике. Кадило в руках священника было почти пусто, дешевый ладан, брошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он, наперебой с дьячком, в полчаса справил службу и только «со святыми упокой» пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки,– печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни, «иде же праведные упокоеваются». Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником понесли из церкви, пронесли его по улице и за селом, на пригорке, опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, покряхтывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались.

Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные морозные остинки, где-то высоко над головой тянул сдержанный, глухой и глубокий гул: так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным – думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один бог,– тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно-белому, пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой и необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задевая за ельник, я быстро пошел зигзагами между его кустами. Траурные сороки с резким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над ними. Минуты текли за минутами – я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мяг-

ко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...

1901

ЗОЛОТОЕ ДНО

I

Тишина – и запустение. Не оскудение, а запустение...

Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых полей; ласково веет навстречу ветер, и убаюкивающе звенят трели жаворонков, сливаясь с однообразным топотом копыт. Вот с одного из косогоров еще раз показалась далеко на горизонте низким синеющим силуэтом станция. Но, обернувшись через минуту, я уже не вижу ее. Теперь вокруг тарантаса – только пары, хлеба и лощинки с дубовым кустарником...

– Ну, что новенького, Корней? – спрашиваю я кучера, молодого загорелого мужика с умными, слегка прищуренными глазами.

– Новенького? – сдержанно отвечает Корней, не оборачиваясь. – Нового у нас ничего нету.

– Значит, живете по-старому?

– Это правильно. Плохо живем...

Не много нового узнаю я и в имении сестры, где я всегда делаю остановку на пути к Родникам. Кажется, что еще год тому назад усадьба не была так ветха. Полы и потолки в зале еще немного покосились и потемнели, ветви запущенного палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают кое-где трещины... А по двору, держа в поводу худого стригуна, запряженного в водовозку, еле бредет полуслепой и глухой Антипушка, и рассохшиеся колеса водовозки порою так неистово взвизгивают, что больно слушать.

– Так плохи, говоришь, дела? – спрашиваю я сестру, которая задумчиво смотрит куда-то вдаль, на косогоры за лугами и речкой.

– Совсем, совсем плохи! – поспешно, как будто даже с удовольствием подтверждает сестра. – Будь капитал, еще,

может быть, можно было бы поправиться. Ведь земля-то сущее золотое дно. Но банк, банк!

– Зато тишина-то какая! – говорю я.

– Уж этого хоть отбавляй! – с угрюмой иронией соглашается племянник-студент. – Действительно, тишина, и прескверная, черт ее дери, тишина! Вроде высыхающего пруда. Издали – хоть картину пиши. А подойди – затхлостью понесет, ибо воды-то в нем на вершок, а тины – на две сажени, и караси все подохли... Дно-то, действительно, золотое, только до него сам черт не докопается!

II

Дорога вьется сперва по перелескам. Потом пропадает в большом кологриловском заказе. В прежнее время она далеко обходила его; теперь ездит прямо, по двору усадьбы, раскинувшейся по бокам лесного оврага своим одичавшим садом и кирпичными службами. Как только в лес врывается громыхание бубенчиков, из усадьбы отвечает ему угрюмый лай овчарок, ведущих свой род от тех свирепых псов, что сторожили когда-то не менее свирепую и угрюмую жизнь старика Кологривова. Пока тарантас, сопровождаемый лаем, с грохотом катится по мостикам через овраги, смотрю на груды кирпичей, оставшихся от сгоревшего дома и потонувших в бурьяне, и думаю о том, что сделал бы старик Кологривов, если бы увидел нахалов, скачущих по двору его усадьбы! В детстве я слыхал про него поистине ужасы. Одна из любовниц пыталась опоить его какими-то колдовскими травами, – он заточил ее своим судом в монастырь. Когда объявили волю, он «тронулся», как говорили, «в отделку» и с тех пор почти никогда не показывался из дому. Медленно разоряясь, он по ночам, дрожа от страха, что его убьют, сидел в шапочке с мощей угодника и громко читал заговоры, псалмы и покаянные молитвы собственного сочинения. Осенью однажды его нашли в мольельной мертвым...

– Не знаешь, не продали еще? – спрашиваю я Корнея.

– Продали, – отвечает он. – И продали-то, говорят, за трынку! Живет тут приказчик от наследников, а ему что ж? Не свое доброе. Без хозяина, известно, и товар – сирота. А земля тут – прямо золотое дно!

– Хороша?

– Аршин чернозему. А лес-то!

Правда, славный лес. Горько и свежо пахнет березами,

весело отдается под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в зеленых чащах... На полянах, густо заросших высокой травой и цветами, просторно стоят столетние березы по две, три на одном корню. Предвечерний золотистый свет наполняет их тенистые вершины. Внизу, между белыми стволами, он блестит яркими длинными лучами, а по опушке бежит навстречу тарантасу стальными просветами. Просветы эти трепещут, сливаются, становятся все шире... И вот опять мы в поле, опять веет сладким ароматом зацветающей ржи, и пристяжные на бегу хватают пучки сочных стеблей...

– А вон и Батурино,– насмешливо говорит Корней.

И я уже понимаю его.

– Что, и тут плохо?

– Да уж молодые-то уехали. А старуха дом продает. Добилась до последнего.

– А как бы заглянуть туда?

– Да скажите, что, мол, дом себе для Родников присматриваю...

III

В Батурине – это большая деревня, но уж известно, что такое «барская» деревня! – в Батурине тихо. Скучно лоснится на солнце мелкий длинный пруд желтой глинистой водой; баба возле навозной плотины лениво бьет вальком по мокрому серому холсту... С плотины дорога поднимается в гору мимо батуринского сада. Сад еще до сих пор густ и живописен, и, как на идиллическом пейзаже, стоит за ним серый большой дом под бурой, ржавой крышей. Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения! От варка остались только стены, от людской избы – раскрытый остов без окон, и всюду, к самым порогам, подступили лопухи и глухая крапива. А на «черном» крыльце стоит и в страхе глядит на меня слезящимися глазами какая-то старуха. Поняв из моих неловких объяснений, что я хочу посмотреть дом, она спешит предупредить барыню.

– Я доложу-с, доложу-с,– бормочет она, скрываясь в темных сенях.

Больно, должно быть, Батуриной выходить после таких докладов! И правда,– когда через несколько минут отворяется дверь, я вижу растерянное, старческое лицо, виноватую улыбку голубых кротких глаз... Делаем вид, что мы очень рады друг другу, что этот осмотр дома – вещь самая обыденная, и Батурина любезным жестом приглашает вой-

ти, а другой дрожащей рукой старается застегнуть ворот своей темной кофточки из дешевенького нового ситцу.

Бормоча что-то притворное, я вхожу в переднюю... О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены закопчены дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных, Дрон, не покинувший усадьбу и доныне... Направо – дверь в его каморку, прямо – комната старух, скудно освещенная окном с двойными рамами, с радужными от старости стеклами...

– Мы ведь в пристройке-с теперь живем,– виновато поясняет Батурина.– Ведь знаете, какие года-то пошли, да и теплее тут зимою...

– Но, может быть, я беспокою вас?

Старуха трясет головой и смотрит недоумевающе и вопросительно.

– Не беспокою ли я вас? – говорю я громче.

Расслышав, Батурина поспешно улыбается.

– Нет-с, нет-с,– отвечает она с ласковой снисходительностью.– Пожалуйте-с.

И отворяет дверь в коридор...

Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадушка с пшеном, какие-то бутыли, позеленевшие подсвечники... В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать... И старуха отстает от меня и скрывается в кладовой, якобы чем-то озабоченная. А я медленно прохожу в большой гулкий зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов... Галка вдруг срывается с криво висящего над ломберным столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно... Вздрогнув от неожиданности, я отступаю к стеклянной двери на рассохшийся балкон, с трудом отворяю ее – и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как все цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишеннике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд!

IV

Вечер в поле встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-лиловых облаков на западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей.

– Дядя, дай серничка! – кричит один из мальчишек, стерегущих на парах лошадей, и, вскочив с межи, бегом догоняет тарантас.

Но Корней суров и задумчив. Он с наслаждением вытягивает мальчишку кнутом и сдержанно покрикивает на лошадей.

«О чем он думает?» – думаю я, глядя на его выгоревший на солнце картуз.

И Корней слегка повертывается на облучке и, следя задумчивым взглядом за мелькающими подковами пристяжной, начинает говорить...

– Всем не мед, – говорит он. – Не одним господам... Хрестьянский банк, мол, помогает! Да нет, в долг-то не проживешь! Купят мужики сто – двести десятин, – конечно, компанией, не сообразясь с силой, и запутляются, и норовят слопать друг друга. А пойдут свары – дело и совсем изгадится, и хоть на перемет с обрывком лезь!

– Однако, – говорю я, – крупных-то господ осталось три-четыре на уезд, – значит, расходится земля по народу.

– По городским купчишкам да лавошникам, – поправляет Корней. – По ним, а не по народу... И опять же земля без настоящего хозяина остается: им ведь только бы купить, благо дешево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну, вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!

– Следовало бы?

Но Корней отводит глаза в сторону.

– Попоить пора, – говорит он деловым тоном.

– На Воргле попоим.

– Ну, на Воргле, так на Воргле... Эй, не рано!

Свежеет, и блеск вечера меркнет. Меланхолично засинели поля, далеко-далеко на горизонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине, в этой синеющей дали с мутно-малиновым щитом. Вот он еще более потускнел, вот от него остался только сегмент, потом – дрожащая огневая полоска... Быстро падает синеватый сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; в лужках уже холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью – только изредка повевает откуда-то теплом... В сумраке мелькают придорожные лозинки, и на них, нахохлившись, спят вóроны... А на востоке медленно показывается большая голова бледного месяца.

Как печальны кажутся в это время темные деревушки, мертвую тишину которых будит звук рессор и бубенчиков!

Как глуха и пустынна кажется старая большая дорога, давно забытая и неезженая! Слава богу, хоть месяц всходит! Все веселее...

V

Воргол – нежилой хутор покойной тетки, степная деревушка на месте снесенной дедовской усадьбы и большого села, три четверти которого ушло в Сибирь, на новые места. Дорога долго идет под изволок; когда уже становится совсем светло от месяца, тарантас шибко подкатывает по густой росистой траве к одинокому флигелю на скате котловины среди косогоров. Звон бубенчиков замирает, и нас охватывает гробовое молчание.

– Уж и глухо же тут! – говорит Корней, слезая с козел, и голос его странно звучит возле пустых стен. – Посидите тут на крылечке, а я лошадей попою и овсеца им кину.

И медленно отводит громыхающих бубенчиками лошадей под гору к колодцу. А я поднимаюсь на деревянное крыльцо флигеля и сажусь на ступеньку...

Но жутко здесь, в этой котловине, со всех сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и бледно освещенной неверным месячным светом! Пустой широкий двор переходит в мужицкий выгон, а за выгоном чернеет семь приземистых избушек, глубоко затаивших в себя свою ночную жизнь...

– Корней, – говорю я, как только Корней показывается с лошадьми из-под горы, – надо ехать! Поедем шажком, а уж покормим дома.

Корней останавливается.

– Ай соскучились?

– Соскучился. Ну его к черту... Едем.

– Это еще милость, – говорит Корней насмешливо. – Вы бы осенью али зимой заехали!

– И как вы только живете тут!

Корней завертывает цигарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:

– Живем пока...

– То есть как «пока»? А потом-то что ж?

– Потом – что бог даст. Все что-нибудь да будет...

– Что же?

– Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...

– А как?

При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает брови и отводит глаза в сторону.

– Как иначе-то?

– Там видно будет,– отвечает Корней уже совсем хмуро.– Поедемте, барин, не рано!

И молча лезет на козлы.

1903

ДЕРЕВНЯ

I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город – и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

– Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

– Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар – зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели – в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножа-

ми не порезались – и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахору тобаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми – в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой, – «не плохо, ничего не разбрешет!» – имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

– Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

– Живем – не мотаем, попадешься – обротаем. Но – по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать, – нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, – от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, – желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

– Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил, – эмирский бухар какой!

Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу.

И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку,– темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

– У-ух! И здорова́ же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

– Сахаром в уста, любезный!

– Либо она у тебя с нюхальным табаком?

– Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

– Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

– Ветчинкой я, брат, нонешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

– А почем?

– Дешевка!

– Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

– Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

– А почем?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.

– Нет-с, уж я своего добьюсь,– говорил он знакомым.– Без детей человек – не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это,– одна приспала, другая все мертвых рожает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка,– так смирно и ласково-грустно,– темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным

красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники – и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

– «Любит ли меня мой муж?» – спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

– «Любит, как собака палку».

– «Сколько детей будет у меня?»

– «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

– Дай-ка я кину...

И загадывал:

– «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

– «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитятко лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой...

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела, – только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

– Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете

и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то – глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне и честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастие слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовию уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келии иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость,– и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

– Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходить в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу,– особенно при фразе, не сходившей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился – носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

– Прекращаем-с, прекращаем-с! – с радостью, отчекани-

вая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле.– Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

– Ох, посмотрю я на тебя! – стонала Настасья Петровна.– Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

– Не испугаете-с! – отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями.– Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

– И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с – и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше – от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать – и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидать вдали, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не

сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице – и над самой головой подняла ужасный рев корова...

– Каторга! – поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечеру по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов – высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

– Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он рас-

строил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи – и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» – и он шел. Орал квасник:

– Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

– Во-от морожено! – тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел,– ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей,– ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек,– да все таких, что смотреть страшно и тошно,– прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой – в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство,– на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры

возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах – бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру – похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, – в очках, с клювом, с провалившимися губами – одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

– Здорово, бабка! – крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. – Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

– Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

– Много вас тут теперь?

– Целых двенадцать старушек, батюшка.

– Что ж, часто ругаетесь?

– Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду – и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, – белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжких чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» – такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но – где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска,– все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле,– все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть,– те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидал Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте – двустишие:

тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! –

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья

пролетка,– лихо носятся уездные извозчики! – а в пролетке – городской охотник: у ног – пегая легавая собака, на коленях – ружье в чехле, на ногах – высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдневное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолок. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

– Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошаденок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки,– рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

– У, нищеброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся – и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала́ вдогонку Тихону Ильичу:

– Дядя! Чеку́ потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете – «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной – густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал го-

лову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

– Разнуздай-ка лошадь-то,– сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнущий стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

– Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

– А у вас-то ай сахарная?– ласково и весело возразил мужик.– Тыщу лет пьем! Да вода что – вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей,– опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами,– любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание – только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» – подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь....

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать – и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует»,– говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли,– война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

– Своей земли девать некуды! – строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич.– Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

– Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

– Как дал этому самому министру под жилу,– говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга,– как дал – праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти – студенты!» И непонятно было: все говорят – революция, революция, а вокруг – все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

– Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! – говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

– Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять – это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет,– народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом – вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось – стоит возле его лавки мужик и говорит:

– Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке – это можно, взять-то ее. А так – нет, не хорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

– Так. А если он не хозяин, а лодарь?

– Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

– Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть – будут и меньше пятисот брать! – и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы – «и отчего это так густы они у дураков?» – лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбьи, выпуклые, а ве-

ки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот – придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

– Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля,– все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой,– и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе – березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков,– конечно, кто подельнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

– Хоть бы картузишко-то купил себе! – кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

– Здорово, Тихон Ильич,– сдержанно говорил он.

– Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

– Это... как сказать?.. не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не дозволяет.

– Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

– О, господи! – вздыхая, бормотал он дрожащим голосом.– Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радует... Прямо надо сказать – не радует!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

– Не радует? Скажи пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

– Из-за бабы, родимец ее расшиби...

– Ревнует?

– Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

– Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что – отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку цигарку... Кабы не глянул – пропал бы!

– Что ж за цигарка такая?

– Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала...

– То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

– Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженая... Ухвачу за пельки – рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решался:

– Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

– Ну! – скороговоркой бормотал он. – Какого там рожна – бунту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

– А сходка-то зачем в воскресенье была? – вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

– Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

– Знаю, о чем галдели-то!

– Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение – никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку – избы, на другом – усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьми!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке – сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул

«запречь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары́ возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник,– злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело»–пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным,–по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

– А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

– Ты бродяга-то!–вопил он, наливаясь кровью.–Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня–черт!–у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

– Ну, помни-и, Митька! – крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. – Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз – и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

– С-стой, стерва! – сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. – Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш – и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, – стройная, с очень

белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами,– стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая,– за ней так и осталась эта кличка,– была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

– В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

– Слышишь, что ли?– шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавшееся в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, раскрасневшееся, лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

– Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, по́том... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости,– и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее – ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой, коротко остриженной

черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

– Вы шо говóрите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело. Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

– Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

– Вы шо говóрите? – спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой,– и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее – стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

– Та-ак-с! – протянул Тихон Ильич, услыхавши это.– Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

– Все честь честью,– ответил знакомый, твердо веривший, впрочем,– как и многие в городе,– что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, крытые сыроватыми

красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнущий конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол, и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

– Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

– Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич,– начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю,– изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал...– Он усмехнулся:– С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

– Я, видишь ли,– анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

– Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут – никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю,– драть шкур не буду.

– Да и времена не те,– вздохнул Тихон Ильич.

– Ну, времена-то все те же. Можно еще,– драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению, то есть.

– Ох, имей в виду: зачитаешься – в кармане не досчитаешься!– сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич.– Да, пожалуй, и не наше это дело.

– Ну, я так не думаю,– возразил Кузьма.– Я, брат,– как бы это тебе сказать?– странный русский тип.

– Я и сам русский человек, имей в виду,– вставил Тихон Ильич.

– Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но – иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы – русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанил пальцами по столу.

– Это-то, пожалуй, правильно,– сказал он.– Дикий народ. Шальной.

– Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки

пошатался по свету,– ну и что ж?– прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив,– покосился Кузьма на брата,– так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

– Как же так – толку что? – спросил Тихон Ильич.

– Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

– Нам, брат, видно, не до этого,– сказал Тихон Ильич.– «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

– Лаптей! – едко отозвался Кузьма.– Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало – монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

– Верно! – сказал Тихон Ильич.– Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

– В церковь я не хожу...

– Значит, ты молокан? – спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

– Вроде молокана,– усмехнулся Кузьма.– Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка,– и совсем забыл бы.

– Ну, это не я первый, не я последний,– возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь.– Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

– Говоришь привычное! – сказал он строго.– А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул,– и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это»,– подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

– И рад бы в рай, да грехи не пускают.

– Вот, вот, вот! – подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу.– Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово – одно, а дело – другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью энергично сказал:

– Ну, значит, так,– не стать перетакивать! – и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

– Вот! – сказал он.– Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его – автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

– А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи,– важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

– А у нас, Кузьма Ильич,– сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился,– а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

– У нас одна песня: что́ почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно,– она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать,– противно гримасничал, а Тихон

Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном – не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделываясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, – сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугунки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», – пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, – после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, – то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сровнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть – никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, – опять выбившись из колеи! – ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-

то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее,– убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубаху сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

– Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец, ни с того ни с сего сказал:

– Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

– Имей в виду,– горячо перебил Тихон Ильич,– охальников всегда и везде было много.

– Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

– Мотю-Утиную-Головку, что ли? – спросил Тихон Ильич.

– Ну вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю – в бочке сахарной. Начальство знакомое – ну, и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

– И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! – горько продолжал Кузьма.– Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли,– грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор,– жестяная труба в верхнем углу окна,– был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть,– «как в волост-

ном правлении»,– думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

– Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь – волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины – тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева нá землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха – «лихая да алчная», свекор – «лютый да придирчивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки – непременно «псовки да кляузницы», деверья – «злые насмешники», муж – «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла – во щи вылила, порог скребла – пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои – умойся, вот тебе онучи – утрися, вот тебе обрывок – удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

– Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? – насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

– Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

– Стой,– перебил Тихон Ильич,– а как поживает сам Серый?

– Дениска говорит – «с голоду околевает».

– Стерва мужик! – сказал Тихон Ильич убежденно.– И ты мне про него песен не пой.

– Я и не пою,– сердито ответил Кузьма.– Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток – видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она *и сожрет его весь под тобой...* То-то смеху бы-

ло!..» Заметь! – строго крикнул Кузьма, останавливаясь: – «То-то смеху было!»

– Да постой ты, Христа ради, – опять перебил Тихон Ильич, – дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

– Ну, говори, – сказал он. – Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать – вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще навертывается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки – и в испуге остановился.

– Далдо-он! – говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но больным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. – Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

– А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

– Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело – сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична,– ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда,– и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников – нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» – до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые,– кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе – одиннадцать лошадей, а на стойле – сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый,– мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо – руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

– С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

– Ну, какое там поле! – сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами.– Так, прошелся ради геморроя,– сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

– А имейте в виду,– с неожиданной горячностью ото-

звался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами,– имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось – что птицы, что зверя-с!

– Леса везде вырубили,– сказал почтарь.

– Да еще как-с! Как вырубили-то-с! Под гребеночку!– подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

– Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет,– думал он,– вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями – озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками – темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило,– верно, простыл, стоя вечером на шоссе,– чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник,– он показывал три,– поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними,– приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть,– что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ве-

тром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом,– караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

– Протопи, протопи, братуша,– сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом.– Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

– Ай язык-то корова отжевала?– сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели.– Что под нос-то бубнишь?

– Цельную ночь шатался, теперь – кормочку давай,– пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять польет»,– подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив кострец и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем!– подумал Тихон Ильич с отвращением.– Ишь, всю ночь распутничала, а под утро – на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань

с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

– Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь – все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» – подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

– Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

– От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся,– вышел ли малый,– и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

– Вон! – крикнул он, задохнувшись и побледнев как мел.– Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота – и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса,– вчерашний он только перерыл, переслюнявил,– и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

– Готово, что ли? – крикнул он, приотворив дверь.

– Поспеешь! – огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слыхал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный ру-

комойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

– Вот так работнички! Скажи ты ему слово – он тебе десять! Скажи ему десять – он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь,– придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-онишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

– Ох! – сказал он, закрывая глаза и тряся головой.– Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево,– в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной – и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем – венчальная шкатулка Настасьи Петровны...

– В лавку! – крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера – и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

– Здорово, Ильич,– сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

– Здорово,– кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший из-за раздвоенной губы мужика.– Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

– Лба не дадут перекрестить, собаки! – бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом,– великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и главами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить,– думал он, страдальчески морщась.– Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»...

– Ай не надо? – сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» – подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: – Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

– Страм сказать! – пробормотал он. – В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что – Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, – да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел – пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковин. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое – сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев – и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, – Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов – по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, – когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом зóлотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

– Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагревшейся печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром,– значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов,– и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны заслышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту – и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

– Твою биографию жизни описать следует,– насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

– Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне – нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло,– опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике – три дойных коровы, в отдельных – красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу – и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

– Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб – шла крупа – и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшенную кашу... Лицо раскраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь,– только стащив нога об ногу грязные сапоги,– он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу – тоже... или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал – и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой – сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой – так и звали все: «Макарка Странник» – и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе,– в лаптях, скуфье и засаленном подряснике,– и зашел. В руках – высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьем на нижнем, за плечами – ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо – широкое, цвета замазки, ноздри – как два ружейных дула, нос – переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цигарку за цигаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключающим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон,– за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя – за подручного. Скинул с него бродяжью одежу и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями,– настолько зловещими, что его посещений стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли – и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одеже и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая

молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что́ пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! –

заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! –

убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом,–

вопил слепой.

Авось грешники покаются! –

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда божьего!
Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал,– в лад со слепым,– крякнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

– Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

– Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и – с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

– С господом!

– А табачку? – нагло спросил Макарка.

– Табачку у самого к одному бочку,– отрезал Тихон Ильич.– Меня, брат, не перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

– Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

– Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

– Расстрелять вернее,– ответил слепой серьезно.– Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две трынки, хоть обыщи!» – и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать – кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости – спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким – и живым и умершим. Народу на свете – как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

– Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь

он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды – секли. Плеточку со свистулькой подарили – и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то,– ласково, с грустью в голосе:

– Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? – и он ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча́ и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем,– гуртуют, воркуют, трепещут крыльями,– а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

– Мы – люди маленькие: выпили, закусили, расплатились – и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

– Никак, ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью,– брата родного: «Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

– Постарел ты, брат!

– Есть малость.

– А раненько!

– На то я и русский. У нас это – живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

– Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей,– например, купец Рукавишников,– рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели,– и не только по пьяному делу,– все помогают друг другу; если разъезжаются – переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными,– вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют,– сквозь потолки, как сквозь решета, льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубоко дохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка – Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут – «ужинать!» – и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила – что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытной душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте,– железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд – бежит цепь огненных глаз. А потом загораются гла-

за по избам. Темнеет, становится уютней – и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

– Нет, грешно! – твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места.– Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу,– сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью,– смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было,– с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

– Денис? – окликнул Тихон Ильич.– Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышиного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

– Здравствуйте, Тихон Ильич,– ответил он певучим городским тенорком и, как всегда, как будто застенчиво.– Еду... в эту самую... в Тулу.

– Это зачем же, позвольте спросить?

– Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке – чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

– А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

– Поддевка-то? – скромно спросил он. – Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю, – сказал он, называя венгерку вендеркой. – Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

– А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

– Чумадан себе купил.

– Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! – насмешливо сказал Тихон Ильич. – А в кармане что?

– Так, кляповинка разная...

– Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилия», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...».

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

– Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.

– Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

– Да авось не имение купил, – ответил Дениска с грустной усмешкой. – А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож, – седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой, – и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

– Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

– Спер, верно, где-нибудь? – спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

– И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

– Пустой...

– С места-то прогнали?

– Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

– Живой отец! – сказал он. – Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он – «я сам ушел».

– Глаза лопни, не брешу.

– Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

– Был две недели.

– Отец-то опять без дела?

– Таперь без дела.

– Таперь! – передразнил Тихон Ильич. – Деревня стоеросовая! А еще революционер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов», – с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая головы.

– Значит, сидит себе Серый да покуривает?

– Пустой малый! – убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

– Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

– Стар кобель, да не батькой звать, – ответил Дениска спокойно. – Отец – так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

– А на билет-то до Тулы есть?

– А на кой он мне, билет-то? – ответил Дениска. – Приду в вагон, – прямо, господи благослови, под лавку.

– А книжечки-то где расчитывать? Под лавкой-то не расчитаешься.

Дениска подумал.

– Вона! – сказал он. – Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, – читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

– Ну вот что, – начал он. – Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, – пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут, – сказал он, разумея дворовых собак. – Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товарищко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» – подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и докончил:

– Да и жениться пора.

«Та-ак!» – подумал Дениска и не спеша стал завертывать цигарку.

– Что ж, – спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. – Я каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

– Ну вот то-то и оно-то, – подхватил Тихон Ильич. – Только, брат, имей в виду, – жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

– Чего гогочешь-то?

– Да как же! Водить! Вроде кур али свиней.

– Не меньше кур и свиней есть просят.

– А на ком? – с печальной усмешкой спросил Дениска.

– Да на ком? Да... на ком хочешь.

– Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

– Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работящая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

– Их, молодых-то, много, – сказал он протяжно. – Не знаю, про какую вы балакаете... Про энту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

– Жил я ай нет, – это не твоего, свинья, ума дело, – ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

– Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

– Ну, значит, и не бреши попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

– Вот съезжу в Тулу... – начал он.

– Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

– Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки, – решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился, – глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол, – и сделал вид, что ищет что-то.

– Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

– Ловко! – сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

– Значит, уж есть краля-то?

– Мало ль их, сук, шатается! – ответил Дениска беспечно. – А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

– Ушел? – тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

– Поезд-то? – спросил Тихон Ильич. – Нет-с, еще и не выходил-с.

– Ага! Ну, слава богу! – радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

– Ну, стало быть, так, – сказал Тихон Ильич. – Стало быть – до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках – извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции, – молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, – и крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

– Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, – сказал он еще застенчивее, чем всегда.

– Что еще такое? – сердито спросил Тихон Ильич. – Денег? Не дам.

– Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

– Письмо? К кому?

– К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

– Да об чем?

– Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко – погорячился, Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

– А то вот еще история была. Жил на селе мужик, – бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там – чугун...

– Чугу-ун? – спросила кухарка.

– Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

«Ах, пустоболты!» – подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

– Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

– Не хуже нашего Тугоногого, – вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

– Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет – жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик, и еще кто-то – со старческим кашлем.

– Никак, Жмых? – встрепенулся Тихон Ильич. – Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

– Пошел мужик к попу, – продолжал Оська, – пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околел, – надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

– У, пропасти на тебя нету!

– Да дай досказать-то! – крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

– Так и так, батюшка,– надо кобеля хоронить. Как затопает поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» – «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню – где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с цигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек – трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

– Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар,– точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше – не плохо перед чаем-то подсолонцевать! – и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, на-

шел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей деняг патом собрал вещи...»

«Сорок! – подумал Тихон Ильич.– Ах, голоштанный!»

«Пашел Деня на станцию Тула и как раз ево обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла ево тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа – и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделывала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, господи! – подумал Тихон Ильич.– Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку опредилится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох...»

– Без сапог, что ли? – сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку.– Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы – ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины,– лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить,– кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы,– тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,
Прощается со мной...

Голову туманило,– то казалось, что все еще впереди – и радость, и воля, и беззаботность,– то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

– Были б денежки в кармане,– будет тетушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

– Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидал два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

– Буян! – позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

– Это мимо Дурновки-то! – сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугунчик со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

– Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история – история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, – уж какие там калоши в Слободе! – что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплевывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе ухи оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал, – начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей неправедной и «так рано пресекшейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

– Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» – восклицал в песне витязь.

– Так! – сказали ему. – Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, – ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать

о том, о чем толковал тогда базар,– о русско-турецкой войне: о том, как –

В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять,–

и как эта орда –

В безобразных колпаках
Подкрадалась под Царь-Пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию *просвещеннаго безнаук природою...*»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув цигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

– Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше «без наук просвещение»?

И опять схватил цигарку и стал глухо реветь:

– Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь,– правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще

такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

– Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

– Не смей призы раздавать! – опять крикнул Балашкин.

– Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти – дети этого самого народа. Платон Каратаев – вот признанный тип этого народа!

– А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

– Платон Каратаев...

– Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

– А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

– Что-о? А Колизеи, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно – учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества – и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастием казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом – громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы – в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш, – во весь дух ломим назад, в Азию! – гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: – Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро – опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами

о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги – пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы,– по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пяток, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой – туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже – возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

– Писать надо,– хмуро и зло жаловался один.– Вянешь, как лопух в поле...

– Да, да, – гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в цигарку.– Сказано: кажный час учись, кажный час мысли... гляди кругом-то – на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил цигарку и полез в столик.

– Вот,– забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет.– Вот тут, друг, куча добра... Я все почитывал, да вырезывал, да записывал... Помру,– годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся – и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам – и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

– Да нет, нет,– этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби древо по себе. На энту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

– Про деревню бы надо, про народ,– сказал Кузьма.– Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

– А Сухоносый не народ, не Россия? *Да она вся – деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, по-

твоему? Стадо каждый вечер по улицам прет – от пыли соседа не видать... А ты – «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе,– в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока – и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уж нетути!» Он не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости – и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался – и увидал красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках.

Шапки эти едва держались на чем-то страшном – на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но – Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» – вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! – думал Кузьма. – А вскочит, крикнет – в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке дер-

жал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамаши,
какие мы есть несчастные, страдащие!
Ах, не дай господь, мамаши,
таким страдащим быть!

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!»

В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго и что впереди – нищета, потеря лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею – на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло сказала:

– Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков – и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да, – думал он, – давно пора!» И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от цигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

– Всеобщая забастовка!

– Опоздал, малый, – сказал Кузьма. – Поновей-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

– Новые городовой на вокзале отнял, – ответил он.

– Ай да конституция! – едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходивших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» – думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу – толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил примьер-министра»... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летя-

щими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

– Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! – тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. – Там кошек дерут, ему лапку дадут!

– У, паршивые! – цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. – Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызшую во рву кость...

«Да, да, – думал он, поднимаясь на гору. – Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопа: «Эй, мила-и!» – вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку – ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой – тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

– В отделку охромел...

– Отчего это? – спросил Кузьма.

– Лошадь убила, – ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: – Ну, теперь еще двое осталось.

– Это судейские, что ли?

– Судейские.

– А не знаешь, зачем суд приехал?

– Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

– Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

– А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспе-

шил притвориться гораздо более старым, чем был,– взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» – пришло ему в голову восклицание Гоголя.– «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище – «депутат хотел реку отравить»... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего – несчастный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы – внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколотку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича,– и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду... Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу – ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» – восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить – в оправдание: «У меня, господин, брат тут служа... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел»! Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» – поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель – никто и не замечал

проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей – хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

– Позвольте, господа! Вот вы говорите – свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

– Взгляды? – альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свиными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

– Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

– Кон-сти-ту-у-ция, – тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов, – учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые

свежезеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидал на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах – бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

– С богомолья?

– Из Воронежа,– с милой готовностью ответил слабым криком странник.

– Жгут там помещиков?

– Жгут...

– И чудесно!

– Ась?

– Чудесно, говорю! – крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цигарку... Но мысли опять спутались. «Странник – народ, а скопец и учитель – не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад,– что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей – до Казакова было двенадцать верст,– потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь – повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка – ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей,– пахарь времен царя Гороха! – лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

– Как тебя зовут? – спросил Кузьма.

– Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» – подумал Кузьма с сердцем.
– А дальше?
– Меньшóв... Н-но, анчихрист!
– Дурная, что ль? – кивнул Кузьма на горло.
– Ну, уж и дурная, – пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. – Квасу холодного напился.
– Да глотать-то больно?
– Глотать – нет, не больно...
– Ну, значит, и не болтай попусту, – сказал Кузьма строго. – Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?
– Женатый...
– Ну, вот видишь. Пойдут дети – и наградишь ты их всех в лучшем виде.
– Уж это как пить дать, – согласился Меньшов.
И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец, бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:
– Собрали, купец, Думу-то ай нет?
– Собрали.
– А Макаров-то, говорят, жив, – только не велел сказывать...
Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» – думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах – синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов – темная, густая... Но избы – глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб – рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба – все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном – палочка и по ней вверх – рогульки, – елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом – зубцами. «Творчество! – ухмыльнулся Кузьма. – Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек – кресты, написанные углем, у крыльца – большой могильный камень, – видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки – крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой – ягнята, телята... И сырость, угар такой,

что зеленый пар стоит. А дети хнычут – и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются – «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» – желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

– Гуляет народ, – задумчиво сказал Меньшов.

– Это с какой радости? – спросил Кузьма.

– Надеется...

– На что?

– Известно, на что... На домового!

– И-их! – крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить –
Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно – и лапти, и онучи, и новые тяжевые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» – и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

– Сынок! Желанный! – вопила, среди гама и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки. – Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя – помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Цыц, бабка, не кукуй...

– А она и так последние холсты для него продала,– говорил Меньшов, тащась по выгону.– Любит она его без памяти,– дело вдовье,– а он почесть кажный день мордует ее, пьяный... Знать, того сто́ит.

– Это каким же манером – «того сто́ит»? – спросил Кузьма.

– А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик – краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

– Это Чучень,– сказал Меньшов, кивая на больного.– От живота второй год помирает.

– Чучень? Это что ж – прозвище?

– Прозвишша...

– Глупо! – сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте,– две длинных лощины, заросших дубняком,– назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым закромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колеях, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на си-

зо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло – жильем.

– Где тут господский двор? – крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

– Двор? – повторила баба. – Чей?

– Господский.

– Чей? Ничего не слыхать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! – крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покатом выгоне, – темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, – обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, – кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети – мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

– Это Мишка Сиверский, – громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. – Его сожгли вчерась... Видно, стóит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокрозеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье – умер ребенок,– и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смирно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

– Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

– Резать,– ответила старостиха серьезно и печально.

– Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор – и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

– Тебе что?

– Насчет сада,– сказал Кузьма.

– Федор Иваныча подожди.

– А где он?

– Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна – гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголо-

вого бурдастого братишку в большом черном картузе – и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» – подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: «Однако ты умен! – крикнул он. – Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но смилостивился – разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

– Ишь, ишь! – насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализам. – Ишь, раздолевается!

– Кто раздолевается? – спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

– Да баггчук-то, – весело сказал он, сильно картавя. – Говорят, семой год так-то!

– Это какой же, – что курицу рубил?

– Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я», – прямо бяда-а!

– Учится, верно?

– Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками – ястребиные. Опустит веки – обыкновенный дурачок, поднимет – даже жутко немного.

– Ты в саду сидишь? – спросил Кузьма.

– В саду. А то где же?

– А как тебя зовут?

– Меня-то Аким... А тебя?

– Я сад хотел снять.

– Вона... хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» – от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивающим от бледных зарниц и рокочущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

– Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, – притворно-

просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму,– приглашая и его послушать Акима.

– Вот погоди,– рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу.– Вот отживем у хозяина лето – сапоги тебе со скрипом куплю.

– «Со скггипом»! Да я у тебя не прошу.

– А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу. Пекарь смутился и вздохнул:

– Уж где нам сапоги носить!

– Да будет вам,– сказал Кузьма,– вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

– А тебе что ж – рыбки, ветчинки захотелось? – спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку.– Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

– А щи, похлебку варите?

– У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь – шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

– А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь – на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

– А я так полагаю,– сказал он покорно и грустно,– что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

– Доктора! – подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!..– Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

– Не все блюдут,– сказал Кузьма.

– Я всех не видал.

– Ну, и не бреши, если не видал,– строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

– Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел,– много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?

– Да дурак,– перебил Митрофан,– булки не всем же полагаются: это по болезни.

– А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни!– крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугунчиком. «Милости просим»,– сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотою. Соловьи смолкли,– сладко и сильно цокал и рассыпался только один – над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда?– думал Кузьма.– Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

– Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

– А на что ты мне нужен-то?– ответил Аким.

– Я вот его о другом спрашиваю,– послышался голос пекаря,– сколько он от Думы земли чает получить? Как думаешь, Акимушка? А?

– Я не письмённый,– сказал Аким.– Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

– Это он насчет нашего брата,– заговорил Митрофан.– Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

– Выйдет за город,– радостно подхватил Аким,– и – в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

– Дурак!– отрезал Митрофан.– Чего гогочешь? Застигнет бедность – зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова

с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

– А-а! Бедность! По часам захотел работать?

– А как же? – бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. – Двадцать часов за двугривенный?

– А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

– Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли – жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

– Аким, значит, тоже липецкий? – спросил Кузьма.

– Из деревни Студенки, – равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

– При брате живет, – подтвердил Митрофан. – Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала – как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть – и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

– Брехать, малый, не пахать, – сказал он наконец. – А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

– Вот бы из ружья-то его! – сказал он особенно скрипуче и картаво. – Так бы и кувыркнулся!

– Это ты про кого же? – спросил Кузьма.

– Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

– А стерва ты мужик. Зверь.

– Поцелуй меня в ж... теперь, – отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

– Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать цигарку, пекарь – убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху по-

клонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился – и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится – и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролегавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову – и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидал широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед – непременно дед и непременно покойник – пошел раз в ригу за хоботьем,

а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое – лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества – сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит – анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдется по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад; сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по

святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или – просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами – в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу – на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всенощной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотька», – подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, – видно, базар позабавился, – и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплевываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

– Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать цигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова

тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село!–

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем–

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной,– Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день,– и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо,– все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

– Ай кусается?–крикнул Кузьма.

– Лют–мочи нет!–торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду.– На морды лошадям сигает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев,– Мысовых, как назвал их Оська,– и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

– Что ж, учатся ребятишки-то?–спросил Кузьма.

– Обязательно,– сказал Оська.– Ученик у них–бядовый!

– Какой ученик? Учитель, что ли?

– Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего

брата – куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом – как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» – где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо – часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсвекольнику, милому позднему цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился

с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводить. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

– Как величать-то тебя? – спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

– Без имени и овца баран, – сказал он наконец, не спеша. – Но спрошу и я вас: Адам – это имя ай нет?

– Имя.

– Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

– Не знаю, – сказал Кузьма. – Да ты это к чему?

– А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке – глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» – «С великим удовольствием!»

– Каким пером? – спросил Кузьма.

– А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то, – и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

– Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось – Пармен.

– А что вам задано на завтра? – прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

– Задачи, стихи, – сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

– Какие задачи?

– Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

– А, знаю, – сказал Кузьма. – А еще что?

– Еще мышей...

– Тоже сосчитать?

– Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, – быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы. – Одна мышь поплоше несла два гроша... Сколько выйдет всего...

– Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

– Стихи – «Кто он?».

– Выучил?

– Выучил...

– А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал – про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

– Седой, – сказал Кузьма, – а не сядой.

– Ну, сидой, – согласился Сенька.

– А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

– Да колдун, – сказал он.

– Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

– А он ухи найдет, – беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы – мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

– Что ж делать-то, – говорила она, легонько вздыхая. – Бедность была лютая, хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» – говорю мужику. «Видно, иди», – говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугунке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть

тлеющей полосе заката росло и плавно неслось на Кузьму что-то черное, громадное...

– Кто это? – слабо крикнул он, натягивая вожжи.

– Ой! – слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся – и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита – из тех, что ставят зимой вдоль чугунки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

– Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью – дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась – и он посматривал на небо:

– Портится погодка. Дожжок теперь для зеленей первое дело.

Двоили пар – и он замечал:

– Не передвоишь – без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «положишь баранину – в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя – опять сырая станет...» И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил – «все брешут!» – но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо – ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

– Ну, и что же? – спрашивал Кузьма.

– Да что? – отвечал Кошель. – Проснулась эта ведьма нарани, глядь – а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

– А чего же она не развязала-то ее?

– Видно, узел закрещен был.

– И тебе не стыдно такой чепухе верить?

– А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка...» До утра он караулил усадьбу, днем спал,– дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, пáдрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» – хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге,– то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встрявал не только во все мирские, но и во все соседские – после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

– Да ведь язык-то без костей,– говорил Серый.– Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и бреши.

Земли у него было порядочно – три десятины. Но по-

датей зашло – на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню, – «милое за немилое сбывал». И опять с резоном: дождись-ка ее, попробуй! – «Все, к примеру, дождаться-то лучше...» – бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый – печально и презрительно.

– Лучше! – хмыкал он. – Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня – глянь, угол-то сидит... ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

– Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, – возражал, раздражаясь, Яков. – Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

– Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клевера́. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его – Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе – ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую – крепкую, просторную, теплую.

– В этой я, прямо говорю, не жилец! – отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

– Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

– И приплывут,– ответил Серый загадочно.

– Ой, брось дурь,– сказал Яков,– наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

– Она, видно, работа-то, не мед,– говорили соседи.

– Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

– Да я и сейчас поди туда – с руками оторвут! – восклицал он.– Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

– Ну, к примеру, и шел бы...

– Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо, чужую беду – руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

– Ой, малый! – сказал раз приказчик.– Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

– Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы,– отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

– Разве я тебе не русским языком сказал – хоботье накладать?

– Не время его накладать,– твердо ответил Серый.

– Это почему?

– Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

– Да ты-то что за учитель такой?

– Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

– А везешь солому?

– На все время надо знать.

– Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

– Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.

– Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

– Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу – и отойду. И совсем уйду.

– Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

– Это я-то припру?

– Ты-то!

– Ой, малый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

– А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, – за что?

– Мне нечего говорить, – пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

– Нет, брат, брешешь – скажешь!

– А куда мука́ девалась? – внезапно крикнул Серый.

– Мука? Какая такая мука? Какая?

– Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу – и на мгновение оба замерли.

– Ты что же это, – за пельки хватать? – спросил Серый спокойно. – Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

– Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

– Ребята! – заорал приказчик, хотя кругом никого не было. – За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

– Не суйся, нос сшибешь, – сказал Серый, держа вилы наперевес. – Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся – и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с ви-

лами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбегу, шарахнулся в воду – спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать – и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

– Хорошо. Снюхалась она, Матрюшка-то, с Егоркой с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу – раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя – все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут кормочку скотине дай, а я пойду,– на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу – опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом – шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

– История! – сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

– Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь – да за ними... Вскочил на порог – прямо на ней и прихватил! Перепужались они – до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не нужо-он...» Поддевочку его взял, пинжачок – тоже, оставил в одних подштанниках,– почесть в чем мать родила. «Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю – и он сзади идет: снег белый – и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда,– куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе,– в поле! Закатилась – насилу соседка под самым Басовым за рукав

поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить,– был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю поясницу ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

– И женил? – спросил Кузьма.

– Вона! – воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток.– Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну и рассказ!» – долго думал Кузьма после этого вечера. А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова,– совершенно лысый мужик в огромной шапке,– писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса – писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать,– в слезы.

– Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет.

– Ну? – спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку – поверх пенсне.– Ну, написал. Дальше что?

– Дальше-то? – спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

– Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает – то с остановками, то совсем без остановок:

– Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за-ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

– Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянной мелкой желтой листвой акаций, необо-

зримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре – дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» – думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем – священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тороваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабоволен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

– Ай опять к Русанову ходил? – спросили соседи.

– Ходил, – ответил Серый.

– Зачем?

– Уговаривали наняться.

– Так. Не согласился?

– Дурей их не был да до́ веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и – загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья – пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке,– угольком краснеет его трубка; хозяйка,– смирная, молчаливая, с придурью баба,– тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок,– большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

– Кто-й-то? – раздается из темноты негромкий голос.

– Я.

– Никак, Кузьма Ильич?

– Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами,

однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, наросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатились дороги по сугробам – и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжелые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос, – голос человека, проснувшегося рано, натощак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что́ говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью: днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он

порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи – у него на все один ответ.

– Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

– Брехня. Знаем мы этот катар!

– Да мне фельдшер говорил.

– А ты слушай его побольше...

– Хочу газетку выписать,– скажешь ему.– Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

– Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

– Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

– Это как же так – чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:

– А как спать-то вам,– ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

– Стыдно, брат, Тихон Ильич,– пробормотал он, отвертываясь к окну.– И особливо после того, что ты сам же открыл мне...

– А чего ж она покраснела? – зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб – лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом.

Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто,– только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую – горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке,– часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик, курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал – был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысинами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под ко-

ваных копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков,– о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его,– его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

– Уж такой доступный до всего, такой доступный!– говорила она – и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» – бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег,– и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай бог дому сему да хозяина в дому»,– и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и

с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь,– она улыбалась только ему одному,– негромко говорила:

– Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси табе господь, внучкя», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

– Небось холодно в одном чекмене-то?– громко спрашивал Кузьма.

– Ась?– слабым нытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

– Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

– Чем холодно?– отвечал он с расстановкой.– Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

– Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

– Таперь, брат, не подымешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя – искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали – и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть – «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя,

бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чепи» – так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а от того, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть – и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжко вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегряшения...» Потом задумался, долго молчал, приникнув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

– Ай мне на похороны? – спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, – у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб – тоже хороший, дорогой гроб, – привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише – и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на крещенье говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и закоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог,– поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина – продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпáлись по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпáлись. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запушенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, околел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

– Готов! – сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая

всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

– Заболел я, Дунюшка! – ласково сказал Кузьма, в надежде услыхать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

– Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнущей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

– Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь, – зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней, – бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, – руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза раскраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» – шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна́ сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль – сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним – не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дур-

новке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку,– и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар – и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

– А, да ну его! Помрет – похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнущий лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку – и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок,– найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом – покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду,– и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, го-

нялась за ним – и настигла бы, да «спасибо, снег был глубок»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай – и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны...– подумал Кузьма.– Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось – жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата,– какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

– Куда ж мне гнать-то тебя,– сказал он, подумав.– Я и лавку с двором с первого марта передаю,– поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Однодворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти россказни брехней, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на цигарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинами. Обдирал он, конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал,

Серый с похмелья тоже заорал – и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! – думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: – И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Както заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича – и она спокойно ответила:

– Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

– Хорошо? – изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

– Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

– А лодыря, драчуна, дурака набитого, – прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

– Да как знаете, – сказала она с дрожью в голосе. – Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

– Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

– А разве не зла? – горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. – Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

– Ну, спасибо вам, – сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы – и опять развел руками Кузьма.

– А теперь-то ты о чем? – спросил он.

И Молодая тихо ответила:

– Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

– Авдотья! – крикнул Кузьма, поднимаясь с места. – Скажи Кошелю – лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

– А! братуша! – приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. – Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

– Уж очень соскучился, брат, – ответил Кузьма, целуясь с ним.

– Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

– Очень ты похудел, братуша! – сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

– Похудеешь, – ответил Кузьма тихо. – Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

– Брехню-то эту? Нет, бог милует.

– Сколько казней, если бы ты знал!

– Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось, – картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг – что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть – вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним – два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки уверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: уверх да уверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

– Да договаривай же,– сказал Кузьма.

– Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» – «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» – «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

– Это с поднятыми-то руками? – перебил Кузьма.

– Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

– Это за ветчину-то удавят?

– Нет, за транду, прости ты, господи, мое согрешение,– полусердито, полушутливо отозвался Тихон Ильич.– Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потеребил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

– Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни,– какое-то дело.

– Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку,– твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю.– И прошу тебя, братуша,– прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Га́рно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города,– за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее,– и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду,– сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки,– у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломлю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова,– слушал и молчал. Потом спросил:

– Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри,

что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается,– это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

– Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь,– нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич.– Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь – животное!

– Да, долблю и буду долбить! – горячо подхватил Кузьма.– Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты *его* живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он – кум королю...

– Да знаю я! – опять перебил Тихон Ильич.

– А про Молодую он знаешь что говорит? – продолжал Кузьма, не слушая.– У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман, коварна и зла...»

– Знаю! – крикнул Тихон Ильич.– Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю,– в трактире-то, помнишь? – а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

– Как что? И при чем тут перепел? – спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

– Имей в виду: воду толочь – вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал – сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

– Господь, господь! – воскликнул он фальцетом.– Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

– Постой,– строго спросил Тихон Ильич.– У какого такого Акимки?

– Я вон околевал лежал,– продолжал Кузьма, не слушая,– много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! – крикнул Кузьма.– Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

– Запомни, брат,– сказал он, и скулы его покраснели.– Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы – дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

– Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

– Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! – а пахать путем – то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы»,– только и всего. Заметь! – строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма.– «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь,– верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой – кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» – подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

– Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь,– заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью,– не нам, а друг другу! И все они такие, все! – закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся,– думал он безнадежно.– Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

– А ты – «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружком со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках – и четыре дня ходили насиловали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

– Тихон Ильич,– ласково сказал Кузьма,– что ты говоришь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

– Пьешь? – тихо повторил Кузьма.

– Пью,– тихо ответил Тихон Ильич.– Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухою? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует,– кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди,– будет дело, будет! Зарезали мы их!

– А за ветчину – давить? – спросил Кузьма.

– Ну уж и давить,– отозвался Тихон Ильич страдальчески.– Это ведь я так, к слову пришлось...

– Да ведь удавят!

– А это – не наше дело. Им отвечать всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

– Ах! – сокрушенно сказал он с глубоким вздохом.– Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник – и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

– Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

– Воистину суета человеческая, житие же – сень и соние. Ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищии...

– Царие и нищии! – восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою.– Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, *а она взяла да истаскала его наизнанку*... Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко нали-

цо по будням носить,– праздника, мол, дождусь,– а пришел праздник – лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своей.* Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно – тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей – коротконогий Дениска без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

– Да у меня нету,– говорила Молодая.– А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

– Мне, был, ждать-то нельзя,– певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

– Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

– Ну, что ж язык-то даром трепать,– громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость.– Говорил с тобой Тихон Ильич?

– Говорил,– ответила Молодая.– Надоел даже.

– Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

– Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым – и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

– Сват, не сват, а добрый человек! – не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном.– Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

– Беги, ищи,– шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

– Да я тут,– сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

– Ну, как же, дочка, решай,– усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

– Я малого не корю...

– А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

– Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Може, бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

Как у нас да по садику,
Зеленóм винорадику,
Ходил, гулял молодец,
Пригож, бел-белешенек...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помоı молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугунчика и моток черных ниток.

– Вот, невестушка,– сказал он смущенно,– на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего,– кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугунки на подоконник, вышел.

– Нитки-то я в чугунчик положил,– пробормотал он.

– Спасибо, батюшка,– еще раз поблагодарила Молодая

тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и, как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

– Слушай,– сказал Кузьма.– Может, кинуть всю эту историю?

– Теперь поздно,– негромко ответила Молодая.– Уж и так страму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупичатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

– Ох,– сказал Кузьма,– измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиньи?

– Дешевле не дешевле,– мертвых с погоста не носят,– просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину.– Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш,– тут пива не сваришь!» – подумал Кузьма и сказал:

– Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку – «ряженый пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугун лапши, чугун щей, чугун каши – все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень,– тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка – созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побе-

левшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Было людно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон,– они снова лезли...

– Да пустите, ради бога! – сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше – и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище – девки в цветных шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем концу вечера,
При Авдотьином девишнику...

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова – и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

Растопися, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеням, сладостно заломило скулы,

и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

– Будя, девки! – крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди мово батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы – наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружкó, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

– Будя драть-то! – грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: – Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

– Без троицы дом не строится, без четырех углов – изба не кроется. Положь по рублю на кажном углу, пятый – посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли – и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом – вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах – и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки – и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе – и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя

новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову – она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шалями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке!

– Ух, мать твою не замать! – бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

– Господа бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

– Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно – от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жени-

ха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи – на сапогах и лаптях натаскали много снегу, – в спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и всея твари содетелю... – говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос. – Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавый... Иакова Рахили сочетавый... подаждь рабом твоим сим...»

– Имя? – строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...» – продолжал с чувством:

«Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни домы их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец – медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого
Золотая голова!

Москва.
1909–1910

СУХОДОЛ

I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луневе, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выходив, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

– Ты ведь сирота, Наталья?

– Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

– А они отчего рано померли?

– Смерть пришла, вот и померли-с.

– Нет, отчего рано?

– Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запорол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула – да и дух вон от ужасти!

– А отчего ты замуж не пошла?

– Да жених не вырос еще.

– Нет, без шуток?

– Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

– Ну-у, какая же ты барышня!

– В аккурат-с барышня! – отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. – Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, – истинно родная нам,

столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

– Да и правда,– говорила Наталья,– как было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума – от несчастной любви – и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сóшки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

– Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно...

– То есть с арапниками? – спросили мы.

– Да это все едино-с,– сказала она.

– А зачем?

– А на случай ссоры-с.

– В Суходоле все ссорились?

– Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были – чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей – и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга – и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла

она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

– Что делать-с: привычка,– скромно говорила она.– Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе:

– Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

– Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

– А и Суходол хорош, пропади он пропадом!– прибавлял он с той же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская,– душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство

в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня – отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели,– где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас,– тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых,– с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры – вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба,– улей, оставленный на волю божию, в полях, при заглохшей дороге, запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца

грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед – цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца – пуньками, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны – высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру

не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья – дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом – давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада – кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских – изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы бож-

ей матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы,– на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную,– туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

– Чай кушать пожалуйте-с,– окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

– Où êtes-vous, mes enfants? [1] – жантильно улыбаясь, кри-

[1] Где вы, дети мои? (*фр.*)

чала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а *он* стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки – и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях – залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски – и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей – и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, – и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце,

жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки – вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало – и поля, и деревня, и усадьбы. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вкруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу – и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

– Исусе сладчайший, помилуй мя,– шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью – и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши – и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая,– и вдруг испускал вопль изумления; смолкал – и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал – и разражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом – и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись ро-

сой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте,–и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

– Наталья?–тихо окликали мы.

– Я-с?–тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

– Что же ты не спишь до сих пор?

– Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы, перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

– Гуляли-с?

– Гуляли.

– Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

– Хорошо жилось прежде?

– Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

– Чего это, нянечка, филин кричит?–говорила сестра.

– Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья постращать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

– А как захворала она?

– Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

– Не дружно, значит, жили?

– Куда как дружно! А уж особливо после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были–чистый порох!

– А пороли дворовых часто?

– Этого у нас и в заведенье не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Пе-

тровић голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

– А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью; но порою запиналась, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

– Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

– Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

– Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомню-с теперь.

– Неправда, неправда!

– Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

– «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду – песню томную... Глупой спать не давал – в ночку темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

– А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

– Очень-с.

– Ты всегда поминаешь его на молитве?

– Всегда-с.

– Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

– В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, – крикнула я, да и замертво! А пришедчи в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

– Строг он был?

– Не приведи господи!

– Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

– Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордилися, да и тро-

нулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

– Ну, а дедушка?

– Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед,– энтого и следовало! – а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

– А скажи,– он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

– Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

– Ведь и дед от любви с ума сошел?

– Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен,– не веселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях – рожь, овес, греча, на большой дороге – редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху – только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко

раскидывалась барская деревня, большая, бедная и – беззаботная.

– Вся в господ-с! – говорила Наталья.– И господа беззаботны были – не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалася...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч,– сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню,– в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

– Это я для Тонечки в приданое,– бормотал он, когда захватывали его.– Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем – воля ваша: не хочете – я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю – неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

– Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» – торопливо успокаивал:

– Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше,– минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый,– а через десять минут снова по-

являлся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками,– «уж не Петенька ли из полка в побывку»,– или что заходит страшная градовая туча.

– Они, голубчики, уж очень грозы боялись,– рассказывала Наталья.– Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом – год. Дворни девать было некуды... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам,– особливо к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» – «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» – «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать,– боялась я того полотенца до смерти! – али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы,– сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи,– когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идьите и больше не вернитесь!» – когда слышалось в классной: «Maître corbeau sur un arbre perché» [1] – и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город,– покинули

[1] «Ворон, взобравшись на дерево» (*фр.*).

же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора... Наталья говаривала:

– Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится,– волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж,– говорит раз барчуку,– ты подрастете, будете меня пороть?» – «Буду».– «Ан нет».– «Как так?» – «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка царица небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказалися...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла,– обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому,– и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары,– по ночам в доме было страшно. А днем – сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее по-

чти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

– Так уж мы и знали-с,– говорила Наталья,– в доме только почивают. А не почивают,– значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою – зайцы, осенью – лисицы, летом – перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, «*Закатилось солнце красное за лес...*». А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья».– «Виноват, сударь». А барчук задвохнутся – и уж не знают, что дальше сказать. «То-то «сударь»! – кричат.– Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтиться, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

– Диковинное дело! – говорила Наталья.– Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной – барышня. Барчук,– а по правде-то сказать, и сами дедушка,– в Герваське души не чаяли, а я – в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась после своей провинности...

V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих

самых Сощек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья – из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони. Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад – на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым – и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

– Помнится, брат Аркадий,– сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле,– помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

– Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

– Вы изволили забыть, сударь,– сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки.– У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

– Это еще что такое?– крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем.– Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

– Так, так, Петенька! Фора!– радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал.– Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

– Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают,– возразил он, насупясь.– А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно-дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности – и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья. Счастье ее было необыкновенно кратко – и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это – длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце – и так была поражена красотой его,– как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу,– что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире – радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе,– за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять

скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку,– конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула – и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой да еще чем-то смутно-страшным,

тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов,– пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами,– сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

– Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! – оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке.– Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану,– мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла,– говорил он, уже разумея Демьяна.– Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! – думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонёбому. «Смотри!» А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу – и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хуторя – только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» – сменилась в стриженой голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалося солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики

выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались,– нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

– Припоздали, девка,– уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее,– не то думала, не то чувствовала Наташка,– повернуть, доскакать до Суходола – и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома – и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, до́ма, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера – приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней – свой, а у меня – свой»,– не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного,– того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами – и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разря-

женный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей,– думала она,– как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму – и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе,– только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее – и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову – и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты – и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула,– только головой покачивал,– и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее – одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы

там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей – и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал – и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке – веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими – просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего

утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца,– и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай,– топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

– Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» – что могли думать гости после таких непрошеных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства,– поднести, например, ей цветок,– и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать – и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» – и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

– Да пойми же ты, пойми,– бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку,– пойми, змея, что́ могут вообразить!

– Ай! – неистово взвизгивала Тонечка.– Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал – подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» – на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

– Очень я грубиян и горячий, сударь,– сказал он безразлично, играя черными глазищами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

– Успеется еще, голубчик! Успеется! – притворно-строго крикнул он.– Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

– Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры – ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петро-

вич стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

– Смотри не напейся,– рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

– С отроду не пил,– как равному кинул ему Герваська.– Не антересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

– Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

– Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

– До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услыхал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь стол закричал предводителю:

– Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого – на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке,– крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра

на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

– Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на́ вечер. Как дело на́ вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспременно помру вечером,– попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да,– волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия.– Да, да, смерть грешнику люта... Да не за́йдет солнце в гневе нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

– Да, да: есть старик – убил бы его, нет старика – купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнущих табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от

восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму – и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська – без казакина, заспанный, «злой, как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

– Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

– Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, заместо благодарности барину...

– Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! – перебил Герваська.– Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

– Ты пусти! – мгновение подумав, негромко крикнул он.– Это ты должо́н уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

– А! – досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками – и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре...

оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной – и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

– Ужли это ты, Наташка?

– А то кто же? – ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

– Добре́ ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженой девчонки, круглоликой и ясноглазой, превратилась в невысокую худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

– Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

– Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

– Это с какой же радости? – спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

– Что ж ты видела? – спросил Евсей.

– Да так, пустое,– сказала она.– Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

– А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

– Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

– Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

– Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал,– спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

– Хорошо было,– повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

– У бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня,– маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

– Позовите же сюда эту... как ее? – Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне – и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня,– барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

– Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы – за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

– Ну, люта-а! – сказала она.– Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели,

а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

– Что ж видела во сне? – спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

– Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась – и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видала», – барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое уменье: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку – и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней – все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась – и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

– Что ж, лучше тебе? – спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

– Лучше-с, – шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

– У, хохлушка подколодная! – крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

– А что ж, – сказала она задумчиво. – И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придала значения тому

новому, что окружало ее. Приехали под утро – и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку – и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце, – а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: «Круть, верть, метелиця...» Потом стала она понемногу приходить в себя – и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила – ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, – он только усы носил, – тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, – тяжелы были его сапоги, – в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты – такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз – не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-зо-

лотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,

Як зійшла зоря вечірова
Та над Почаевом стала,

как сама божья матерь святой монастырь «рятува́ла», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,
Що я посадила,–

тоскливо-протяжно рассказывала она – и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого́
Миленького,
Що я полюбила...

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снив-

шиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние – покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него*, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни – и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать,– вплоть до того, как он насмерть «толконул» деда, и твердо сказал:

– Ну, а теперь прощай до́веку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу:

– А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образумься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя – и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на господа бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

– Думай не думай – по-нашему не будет,– говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль.– У господа бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали – грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле,– трудно было сначала не думать-то! – думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами – и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! – крикнула она в тревоге и ужасе.– Ай пожар?» – «До

шпенту все слетит сейчас! – тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. – Туча́ идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!» А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то – и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы – и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» – крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами – и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

– Господи Исусе, – скороговоркой шептала она. – Матушка царица небесная! Угодники божии!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, – недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! – что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам – в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля – за нею, когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидала знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, – мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля

по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

– Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении – смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи,– с прямо вытянутыми ногами,– с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце,– вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

– Нет, дед, не калянься: видно, уж придется подгузники скидавать! Не минуешь!

А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд изб – и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно – все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном,– и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось,– все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем – и особенно в запахе цветов – чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся – самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы,– барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе – и сладостно прихлынули к ее сердцу все её прежние страхи, радости, нежности, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни – пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и – огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки – и Федосья, женщина еще молодая, надела тем-

ное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком,– уже слышались из детской старые, старые причитания:

– Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой – нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна – и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда – поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился – и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

– Зорька... темняет... пора,– говорил он таинственно. Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом,– даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре,– на случай зова, приказаний Клима,– мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

– Встань, раба божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

– Доску,– кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

– Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

– Тоска, тоска! – восклицал он с внезапной силой и грозной властью.– Ты иди, тоска, во темные леса,– там твои мяста! На море, на окияне,– бормотал он глухой зловещей скороговоркой,– на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучнища, на ей серая руница...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом,– тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

– Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться – по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что́ она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед – и тем, что́ держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи – о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

– Птушечки мои! – фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. – Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

– Угодниче божий Дроние, моли бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

– Бяда! – бормотал он, задыхаясь. – Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

– Когда ж еще придешь, Тимоша? – кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

– О святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

– Угодниче божий! Моли бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах – о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмиряется огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза – «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали – торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, «провинёный монах», как он называл себя.

IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож,– говорил он.– Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он, как горбун,– едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» – и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу,– старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет,–

он никогда не пьянел,– издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

– Ну, известно,– рассказывал он мужикам, подмигивая,– известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно – не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

– Так и зарекся ты навек работать? – спрашивали мужики, блестя глазами, в ожидании едких откровенностей.

– Черт меня теперь заставит работать! – отзывался Юшка.– Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые,– мне бабы и даром не надобны! – боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

– Да кто-й-то? – крикнула она.

– Человек,– ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы.– Доложи барыне.

– Кто это? – крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину – и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» – глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь – дотла

вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *неминучее*, что близко осуществление страшного сна ее,– в Сошках, про козла,– что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душит мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминучем часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве – и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминучее свершилось. Юшка пришел – как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Наделящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала – и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время – она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой, со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала – и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то

там, то тут,– и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

– На море, на окияне, на острове Буяне...– зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями.– Там лежит сучница, серая руница...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией – бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию – и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей,– и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол – и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани,– от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах,– рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого

конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все,– расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья – и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготовлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии,– ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! – и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам бог отметил их с барышней губительным перстом своим – им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле – и вызвали даже тревогу и на дворне и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать – начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле – все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой – нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей,– собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хоте-

ли выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другой, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастие не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович уехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег,–будто бы головой к ней,–спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собою вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями,–крикнул: «Пошел!»–и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

– Беда, девка, беда,–забормотал он глухо, странно, как во сне,–барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и–копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

X

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий,

ладный полушепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову – во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, – дедовский сундук с выдвижными ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось,

сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распахано и засеяно, как распахана, засеяна была земля на местах многих других усадьб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича,– ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола – Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» – говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить – топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни,– единственной жилой горницы,– жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странно слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуещь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой,– если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их – возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом – целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

– Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

Васильевское. 1911

СИЛА

Шел осенний, мглистый дождь в сумерках.

Прижав уши, стояла на барском дворе, в грязи возле людской, донская кобыла, темная от дождя, худая, будылястая, с тонкой длинной шеей, с обвислым задом, с подвязанным хвостом, запряженная в тележку, плетеный кузов которой был очень мал по тяжелым дрогам и крепко ошинованным колесам.

Мещанин Буравчик, приехавший в этой тележке к старосте, не заставший его дома и сидевший в людской за кубастым самоварчиком красной меди, был человек старенький, ростом с мальчика. Череп его был гол и желт. Над ушами и по затылку курчавились остатки черных жестких волос. Курчавилась и бородка его. Мокрые усы, прокопченные табачным дымом, лезли в добрый, беззубый рот. На темном морщинистом личике, под сдвинутыми бровями, живо и весело блестели кофейные глазки. Он и хмурился и вместе улыбался, тянул с блюдца горячую воду, сося кусочек сахару, и все шарил по впалой груди, ощупывая карманы ветхого длиннополого сюртука, порыжевшего на лопатках.

Горела над столом висячая лампочка.

Буравчик поглядывал на нее,– она коптила,– и без умолку говорил. А беременная старостиха, сидевшая на нарах у печки и за веревку ногой качавшая люльку, закрытую ситцевым пологом, похожую на маленький шатер, рассеянно слушала, думая свое и заводя глаза от дремоты.

– Вот они распарятся, я их и подберу,– говорил Буравчик и схлебывал с блюдца, указывая на стакан, набитый разбухшими кусками кренделей.– Распарятся, тогда и съем. А так нет, не угрызу. Нечем.

И Буравчик, засмеявшись, полез сухим, бурым от окурков пальцем в рот.

– О! Ишь!– сказал он с удовольствием.– Ни аноо не аалось,– сказал он, желая сказать: «ни одного не осталось», и водя пальцем по голой розовой десне.

– По какой же такой притчине?– равнодушно спросила старостиха, с трудом поднимая веки и думая о том, что этот веселый старичок в обтертых сапожках и линючей розовой косоворотке пережил двух жен, вырастил шестерых сыновей, купил барское имение под городом, а прежних повадок все не кидает – живет побирушкой, торгует на селе в лавчонке, конокрадствует и, говорят, вот-вот опять должен в острог садиться.

Буравчик зорко глянул на старостиху, на ее большое сонное лицо.

– По какой притчине-то?– ответил он, вытирая палец о борт сюртука.– А совсем не по той, что ты думаешь. А совсем не по той. На меня несут, брешут, как на мертвого, ну, а хоть бы и правда была, так не родился еще тот человек, сударыня, какой смел бы коснуться меня. Не-ет, бог миловал! Меня голой рукой не возьмешь! У меня вон шесть сы-

нов-бугаев, озорней их, чертей, во всем селе нету, а ты глянь, как я их вышколил: взгляду моего боятся! Пересолишь – хлебать не станешь,– прибавил он ни с того ни с сего одну из тех прибауток, связь которых с предыдущей речью очень часто оставалась совершенно непонятна его собеседникам.– Зуб же я своих лишился потому, что дюже болели они у меня, а добрые люди возьми да и научи купоросу в роту подержать. Ты вот послушай, какую антимонию расскажу я тебе про эти самые зубы. Муженек твой, без сомнения, застрял где-й-то, давай его, дружка милого, ждать да беседовать от скуки...

– Обещался к вечеру быть,– сказала старостиха.– Да, вишь, грязь-то какая.

– А мы его подождем,– ответил Буравчик и, поставив блюдце на стол, полез в боковой карман за кисетом с махоркой.– А мы его подождем. Да. История же эта самая такого рода была...

И не спеша, с удовольствием стал рассказывать. Череп его блестел от пота, брови хмурились, глаза блестели, выражая старческое довольство жизнью. «Беспременно сынки его дельце какое-нибудь нынче в ночь обработают,– думала старостиха.– Для того он и из дому уехал». А Буравчик, свертывая цигарку, рассказывал:

– Сила не в зубах, сударыня моя. Зубаст кобель, да прост. Опять же и не в медведе сила. У нас на Руси силу в пазухе носи... Да ты вот лучше послушай. В некотором царстве, не в нашем государстве, ехали мы раз, сударыня, с возами своими по белевской по большой дороге. А нужно тебе заметить, что мы тогда с братом Егором коробошниками были, кампанировали с ним по этой части да денежки плутовством наживали, откровенно же сказать – прямо муку мученическую терпели от этих от самых дождей и холодов. Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечеру и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся, и до того добил, искоренил, что повернули мы, не долго думая, в лес какой-то встречный, к караулке. Надуваемся, ползем, ломим целиком, а по лесу, понимаешь, как мга какая от дождя синеет, а от лошадей альни дым валит: накаталось на колеса грязи этой самой с листьями – чертям невпроворот! Подъезжаем, наконец того...

Буравчик хлебнул с блюдца и остановился. Послышалось шлепанье лаптей по мокрой соломе в сенцах. Кто-то подошел к двери и стал шарить, ища скобки.

– Кажись, он? – спросила старостиха, прислушиваясь.

Прислушался и Буравчик. Дверь чмокнула, распахнулась, открыла на мгновение черную темноту, и вошел не староста, а работник Александр, большой мужик лет пятидесяти, лысый, бородатый, с ясными серыми глазами и нежным цветом крупного лица, в полушубке и чистой замашной рубахе. И опять зорко блеснули глаза Буравчика.

– А я насчет твоей лошади зашел, – сказал Александр, чему-то улыбаясь и садясь на лавку. – Прибрать ее, ай нет?

Буравчик подумал.

– Да нет, погоди, – ответил он с притворной беспечностью. – Я еще, может, поеду. Я ведь этих дождей нисколько не боюсь. Мы брат, люди русские, травленые...

– Дело твое, – сказал Александр и поглядел в сторону. – Я, признаться, и шел-то больше за тем, чтоб на тебя поглядеть: какой такой, мол, Буравчик этот бытует? Давно слышу: Буравчик, Буравчик... А что за Буравчик, – неизвестно. Дай, думаю, гляну.

– Наслышан, значит, обо мне? – спросил Буравчик. – Ну что ж, гляди. Меня уж давно так кличут. У меня их две, фамилии-то: одна, значит, улишная, а другая журнальная. А ты кто же такой? На работника не похож что-й-то.

– И то не похож, – сказал Александр. – Это меня нуждишка заставила батраком-то на старости лет быть. Я панютинский, у нас село богатое. Я сам хорошо жил, хозяином. Да такая оказия: третий раз горю дотла! Справлюсь-справлюсь, придет лето, хлебушко уберу... ну, думаю, слава тебе, господи... Ан нет: опять сумку надевай! Просто хоть удавись, – прибавил он с застенчивой улыбкой. – Двое ребятишек сгорело...

– Да что ты? – с притворным участием и даже ужасом воскликнул Буравчик. – Это не мед, – сказал он, качая головой. – Это не мед. Избавь бог.

И, помолчав, опять обратился к старостихе:

– Да, так вот я и говорю: заехали мы в лес, подъезжаем к караулке. Становим лошадей во двор, всходим в избу, самовар требуем. А лесник, надо тебе заметить, оказывается, вдовец, старик древний, да такой, что я и отродясь не видывал: просто орутан какой-то! Брат Егор даже испугался маленько. Глянул на меня, да и говорит мне по фарам, чтобы, значит, не понял нас лесник: «Брафарат, афара веферердь эферетофоро звефререрь. Офорон мофорожеферет уфурубифирить нафарас». То есть, по-русски сказать так: «Брат, а ведь это зверь. Он может убить нас...» А на зверя лесник,

и правда, похож: рубаха ниже колен, лыком подпоясана, на ногах лаптищи, руки длинные, вроде корней дубовых... Дикий, одно слово, человек и силы, видать, неописанной.

– Этот орутан в зверильнице живет,– вставил Александр.– Видел я его в городе.

– Он самый, он самый,– подтвердил Буравчик.– Да его и по избам большое число попадается... Да... И все, знаешь, гнется, кряхтит, в земь смотрит...

– А виски небось серые, невпрочес, как у кобеля хорошего,– опять вставил Александр.

– И то правильно,– сказал Буравчик.– Ты догадлив живешь, сударушка. Ну, только против дикого, как говорится, и сам дик да хитер будь. Мужик тебя ралом, а ты его жалом... Да. Обращаемся к леснику: «Чайку с нами милости просим».– «Можно, говорит, спасибо». И опять этак сумрачно, а главная вещь – шамкает. Сел за стол, налили мы ему чаю,– в корец, понятно, а не в чашечку какую-нибудь,– а он и давай, вот не хуже моего, скорки хлебныя крошить да в чаю их распаривать. Чтó, думаем, за чудеса такие? «Дед, говорим, да ай у тебя зуб-то нету? Фигура у тебя знаменитая, а зуб нету: что, мол, за притча такая?» А он, понявши, без сомнения, такие слова, и совсем голову угнул. Молчал-молчал, да и выложил нам, дуракам, свое назидание.

– Стравил тоже чем-нибудь, зубы-то? – из вежливости спросила старостиха.

Буравчик закурил, закашлялся и ответил веселой скороговоркой:

– Да нет, в том и басня вся, что не стравил. За грех поплатился, за гордость. Ты вот послушай.

И опять перешел на размеренный тон:

– Он, понимаешь, лесник-то этот, так прямо и сказал нам: назидание мое, говорит, в том самом есть, что окоротил меня господь за грех тяжкий, за глупость мою. И вот каюсь я теперь, ребята, и конному и пешему. Видите, какия дисни-то у меня? О, гляньте,– сказал Буравчик, представляя лесника, и опять запустил в рот палец,– ни одного не осталось. А почему не осталось,– человека я хотел убить, на силу свою глупую понадеялся. Зашел ко мне, ребята, годов семьдесят тому назад солдат один из Польши: шел домой в отпуск несрочный и ночевать, значит, попросился. И было, вот как перед истинным богом, росту в том солдате не боле двух аршин, а силы – и на двух вшей не хватит...

– На взгляд-то, значит,– сказал Александр, чтобы показать, что он понимает, к чему клонил лесник в своем нази-

дании.– На первый взгляд, то есть... Вот вроде как у тебя,– прибавил он насмешливо и дружелюбно.

– Во, во, в аккурат!– подхватил Буравчик, блеснув в его сторону глазами.– Совсем коростовый, глядеться... И зачни, понимаешь, деньгами перед лесником хвастать. «Сел, говорит, за стол, похлебал моей похлебочки, закурил трубочку, снял ранец с себя – и давай деньги из него таскать, пересчитывать. А денег этих самых у него – прямо тучá: все сотельныя одне, и все в стопки, в кирпичи складены и оборочками хрест-нахрест перевязаны. «Да это еще что!– говорит.– У меня, говорит, еще гаман за гашником спрятан, полный золотом». И как, значит, глянул я на этакое богачество, потемнело у меня в глазах от жадности, отнялись мои ручки, ноженьки,– аж штаны ходуном заходили. Посчитал деньги солдат, попихал их в ранец свой и бает: «Что ж, пора и на печь, дядюшка!» А я в ответ ему мычу только да зубами стукаю, зубы же мои в ту пору таковы были, что мог я ими очень даже просто доску столовую перешибить. Ну, завалился, без сомнения, солдат мой на печь, потушил я лучину, нашарил топор-колун под лавкою, лег и жду, а сам думаю: тюкну, мол, обухом разок, и капут ему, суслику!»

– Ан суслик-то умнее нас вышел,– вставил Александр, показывая, что он уже предугадал и развязку притчи.

– «Долго ли, коротко ли,– продолжал Буравчик,– только слышу – успокоился солдат. Ну, думаю, слава тебе, господи, во сне-то ему легче помирать будет, он и сам небось когонибудь сонного пришиб,– больше неоткуда было ему такую уйму денег накопить. Подкрался с обухом своим к печке,– а в обухе том весу, никак, боле пуда было,– стал покрепче на приступку, повернул колун тылом, нащупал голову стриженую, размахнулся – раз!.. Мать честнáя! Только мокро, мол, останется!.. И что ж вы, ребятушки, думаете?»

Буравчик остановился и вытаращил глаза, держа блюдце на отлете.

– «Что же вы думаете?– говорит лесник.– Очнулся солдат, потянул в себя носом и покойненько этак кличет меня: «Хозяин, а хозяин. Что-й-то у тебя тут делается! Либо у тебя прусаки водятся? Мне сейчас здо-оровый прусак на голову упал...» А хорош прусак, колун-то мой? Я прямо обомлел от этих слов, свалился с приступки, прижукнулся – и ни вздоху, ни пыху! Зачал, однакося, опять ждать своего...»

– Этот солдат, значит, слово знал такое,– сказала старо-

стиха и, скрестив руки под грудями, перестала мотать ногой.

Александр, насмешливо и ласково улыбаясь, только розово-лысой головой покачал. А Буравчик вскочил с места, торопливо поправил коптившую лампочку, опять сел и крикнул, открывая беззубый рот, с детскою гордостью и радостью:

– Ха! Слово! Слово слову розь, а тут не иначе, как кочетиное слово было! Слушай, что дальше-то будет, чай, примечай, куда чайки летят. Лесник мой не унялся, опять полез на печь. «Нащупал я, говорит, темя солдатово, обернул востряком колун и ухнул со всей силы-возможности. Ухнул и жду, а солдат приподнялся, да как захо-хо-о-чет! «Ну, говорит, хозяин, видно, у тебя не выспишься. У тебя, говорит, черти, без сомнения, водятся: видно, подложили плотники щетины под матицу и развели у тебя этих самых чертей видимо-невидимо. Сейчас один меня ровно прутом каким по лбу жиганул. Аж засвирбело...» Что тут делать? Отполз я от печи, а солдат поднялся и, слышу, обувается. «Хозяин, а хозяин, говорит, скоро свет, мне пора итить, проводи меня из лесу». Ну, думаю, и того лучше: угомоню его в лесу, мне же выгодней,– избу поганить не надо. Вскочил, будто спросонья: «А? Что? Проводить? Ладно, мол, идем...» Надеваю армяк, трясусь с ног до головы, никак в рукав не попаду, а сам за дубинку ловлюсь: стояла у меня в уголке на ту пору ха-а-рошая орясина, пудиков трех весом. А солдат умывается и – хохочет! Берет в рот воду из махоточки, льет из рота на руки, нагинается, моет лицо и хохочет... Чисто черт какой! Вышли, наконец-того, пошли... Мне бы, дураку, давно пора понять, что никак не возьмет сила моя супротив ума солдатова, а я пру да пру, на затылок его стриженый гляжу. Он передом, в ранце своем телячьем, сам меньше ранца, я – за ним, по пятам, вроде медведя какого. Стало, вижу, белеть вверху, дождь редеть да редеть, прояснилось в лесу. Дождался я спуску в ложок, приподнял свой корешок да и пустил с навесу по затылку солдатову. А солдат...»

Буравчик быстро взглянул на свесившуюся голову старостихи и уставился радостно-блестящими глазами в Александра:

– «А солдат клюнул этак носом, шапку подхватил, поправил, обернулся, будто удивился очень, да и говорит этак строго да внятно: «А-а, говорит, вот какой домовой-то в избе у тебя завелся! Понима-аю! Видно, надо поучить его маленько...» Поставил тихим манером ружьецо свое бердан-

ское к сосне, засучил рукава... «Ну-ка разинь рот»,- говорит. А я уж и дубинку уронил от ужасти и ничего не смыслю. Однако разеваю. «Да нет, говорит, ты пошире, пошире, стыдиться тут нечего!» Разеваю, сколько есть моей силы. Берет тогда солдат меня за зуб пальцами, давит его, как клещами залезными, и вынимает вон из рота, в горсть себе кладет. Вынимает опосля того и другой тем же побытом, вынимает и третий, вынимает четвертый...»

Остановились и у Александра его ясные глаза. А Буравчик, насладившись его ожиданием, уперся руками в колени, лихо расставил локти и отчетливо, раздельно стал доканчивать:

– «Выбрал он мне, без сомнения, зубы до единого, вынул лычко из карманчика: «Держи подол»,– говорит. Я держу, подставляю. Положил солдат в подол цельную горсть моих зуб, завернул, закатал и так-то аккуратненько завязал, закрутил его лычком. «Это, говорит, мужичок-серячок, на память тебе, а это на помин души моей...» И вынимает, подает мне сотельный билет!»

– Это не плохо,– с улыбкой мотнул головой Александр.

Буравчик залился смехом.

– Дай бог всякому!– воскликнул он.– Да ведь знаешь, сладок мед, а не по две ложки в рот. Деньги-то он приобрел, а зуб лишился. «Я, говорит, деньги-то беру, а сказать ничего не могу: хочу слово сказать, да с непривычки только челюсью ворочаю. А-а, а-а,– только и всего. Хочу сказать: солдатушка...»

Буравчик, смеясь, поднял брови, сделал жалкое лицо:

– «Хочу сказать,– смеясь и почти плача, закричал он тонким голосом,– хочу сказать: солдатушка, а выходит: саатушка...»

Стягивая с блюдца воду и куски кренделей, он еще долго крутил головой, морщился, смеялся и повторял последние слова. Старостиха, сложив руки, крепко спала. Лампочка коптила, прусаки, пользуясь сумраком, бегали по старым бревенчатым стенам. На черных стеклах блестели капли дождя.

– Побаску твою понимаю,– сказал наконец Александр.

– Сила, значит, не в медведе,– пояснил Буравчик.

– Не иначе,– подтвердил Александр.– Был и у нас случай подобный. Я сам очевидец был. Будет этому, дай бог не солгать, лет небось пятнадцать тому назад. Был у нас в Панютине малый – дурак, звали его Бурлыга. Потому не мог он чисто сказать: тоже двух зубов на переде не хватало,–

кобыла вышибла. Все, бывало: бур, бур. За то и Бурлыгой прозвали. Малый, говорю, был дурак, картавый, а вот, не хуже твоего лесника, рослый, здоровый, чистый палач. Потому его внешность дозволяла. Так вот, случись у нас в селе ярманка. Собрались его товарищи по пьяному виду, сидят на выгоне. Конечно, тут и водка, и всякая закуска при них. Зашел разговор, как вот у нас с тобой, про силу, а он, конечно, пьяный,– бывает, тверезый того не сказал бы, а тут: бур, бур, я, говорит, никого не боюсь, и бога никакого нету...

– Ну, уж это-то сдуру,– рассеянно сказал Буравчик, вздыхая после смеха, завертывая новую цигарку и думая о чем-то.– Это уж сдуру.

– Понятно, сдуру,– подтвердил Александр.– Подивились все ему. Мол, не снесешь ты, малый, своей головы! А он поднялся, пошел в народ, увидал свою кралю, сделал ей любовный знак. Подходит она к нему. Зачал он при ей еще пуще куражиться. Глаза помутил, полушубок размахнул, усы мокрые косицами в щербину лезут. Видит – сидит какой-то старичок на телеге, лопатами торгует, а в телеге лежит, связан, большой белый баран, тоже, зна́чит, продается. Лобик, поясника краской фуксином помечены. Рога здоровые, хвост толстый. А сам старичок легонький, как пух, в сером халатику, в белом колпачке из про́стой холстины и в чуньках покойницких. Сидит на грядке, закусывает калачиком. А малый-то мой сдуру куражится, ломается, лезет на него...

– Своей беды не чует,– вставил Буравчик в лад Александру, тем же тоном, каким и Александр вставлял замечания в его рассказ.

– Да, беды своей не чует,– повторил Александр.– «Сейчас, говорит, пойду, всю его амуницию расшибу и барану хвост отломлю». Любовница его мазаная, конечно, тоже уродничает, притворяется, упрашивает его. А он-то качается, ломается, будто пьян дюже! «Прошу тибе, не трожь ты мине, а то я хуже наделаю. Против силы моей, говорит, богатыря во всей державе не на́йдется». Подходит, значит, к старичку. «Бур, бур, дай, говорит, калачика мне». Старичок вынимает из телеги калач свежий, подает, а малый Бурлыга берет, а сам прицеливается барана сгресть, хвост ему зачать ломать. А старичок поглядел этак скромненько, слез с грядки, лопату поднял, да как размахнется, да как ахнет... Норовил-то по малому, а попал мерину по боку – аж по всей ярманке отозвалось! Мерин с ног долой, порядочно лопат переломал, ухнув, дохнул, да и каюк,– красная вода

носом пошла. Тут, конечно, народ бежит, а старичок зашел за народ – да потуда его и видели. Как в воду канул. Мерин завалился, лежит, а баран сидит в телеге и на Бурлыгу лупится...

– Ну, а старик-то, – рассеянно перебил Буравчик, – он-то куда ж мог пропасть?

Александр подумал.

– А шат его знает, – сказал он. – Значит, слово такое знал. Значит, тоже прикоснулся он сатане... вот не хуже солдата твоего, либо тебя.

– Меня? – с притворным удивлением крикнул Буравчик, и глаза его блеснули довольством. – Ай ты очумел? Я-то тут при чем?

– Будя толковать-то! – сказал Александр ласково и грустно. – Авось слыхали про тебя. Ты, брат, тоже мал, да удал. Тоже хорош... Живучее всякой кошки али, скажем, козюли. Ты ее ралом, она тебя жалом... Ну, ты сам посуди: что ты предо мной? Я тебя могу двумя щептями задавить. А куда ж мне, дураку, справиться с тобой? Ты захочешь – кровинки во мне не оставишь, дотла всего высосешь. Я, к примеру, могу две полнивы за день взодрать... Да и взодрал-таки на своем веку, дай бог всякому. А чего добился? Один хрест на шее, только и всего. А ты вот тысячами ворочаешь... Нет, как можно! – сказал он с непонятным восхищением. – Я твоего ногтя не сто́ю!

Буравчик молчал, загадочно и довольно улыбаясь. Что-то думая, он наклонил самовар и стал нацеживать последнюю чашку.

16.VIII.1911

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали, – был праздник, Успенье, – и

жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада – и все почувствовали, что спать еще не хочется,– выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками,– возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» – дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

– Совсем отбился от дому! – с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками.– Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая

чушка, даже шеи не моет! – улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, – весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение – изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, – от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, – возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь

мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился – над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», – сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатились со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретёнкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, – даже и к Ивану, издевавшемуся над ним, – у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, – если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

– Ай, барчук, донимают? – спросил он. – Чистая беда эти блохи, хомут! – сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

– Мочи нет, – отозвался гимназист. – Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жилять, как не их.

– Главная вещь, порток на них не полагается, – равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал – как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать цигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

– Ой, спалишь ты, малый, гумно! – сказал он.

– А я на барчука солгусь, – отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. – Он сам постоянно курит. Чу́дная ночь, барчук, сегодня, – сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. – К этой ночи что́ недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

– Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

– Половина одиннадцатого, – сказал он, горбясь.

– Ну вот, так я и знал, – весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. – В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки – и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

II

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое – о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова,– только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

– Что брешешь пустое,– равнодушно сказал старик, услыхав хвастливое заявление Пашки.– Какого такого человека мог ты убить? Где?

– Глаза лопни, не брешу! – горяче отозвался Пашка, поворачиваясь к старику.– Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

– Да где убил-то?

– Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял,– наш же, елецкий,– эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

– Кого его? – спросил гимназист.

– Да арестанта, грузинта этого.

– Стой,– перебил старик,– ты толком расскажи. Где вы стояли?

– Опять двадцать пять! – притворно-досадливо сказал Пашка.– Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках...

– Знаю,– сказал старик.– И мы там стояли восемнадцать дён.

– Ну, вот видишь,– значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не во-

семнадцать дён, а цельный год семь месяцев стояли, а арестантов этих обязаны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные проступники, бунтовщики, и, значит, всех их, десять человек, в горах поймали и к нам представили...

– Стой,– перебил гимназист,– а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

– А я и отцу родному не спущу, когда надо,– ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику.– Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него цельный год в арестанских ротах пробыть, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай,– сказал он, делая вид, что говорит только со стариком.– Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, до́ ветру все просится. Еле кандалами брянчит. Наконец того, подходит к старшо́му: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и дозволили, как путному. То́лько приходим в Зухдены. А ночь – хоть глаз выколи, и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у кажного, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окнах пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

– Обязательно,– сказал старик.– Он должо́н по закону все в исправности принять.

– Про то и толк,– подтвердил Пашка, опять торопливо пряча зажженный серник в руки, сложенные ковшиком.– Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой,– продолжал он, давя спичку и пуская в ноздри дым,– пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу,– спать мочи нет как хочется,– а грузинт этот как вскочит вдруг да за́ угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандальный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то рукой,– Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы,– да и дёру! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и – за ним: Козлов тоже за́ угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все норовлю поймать, где зук, где то есть кандалы его звенят,– дуро́м-то, думаю, и стрелять нечего,– наслышал, наконец

того,– раз! Чую – мимо. Я в другой – опять, слышу, мимо. А Козлов лупит по чем ни попало, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! – приложился, вдарил: слава тебе, господи, сорвался, слышу, зук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в энто место, бегу, а он и вот он: на земи на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говорит, скорей, рус, вдарь меня в это место штыком»,– в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье – раз ему в самую душу... аж в спину выскочило!

– Ловко! – сказал старик.– Дай-ка затянуться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окурок.

– А Козлов,– ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой,– а Козлов бежит и не судом кричит: «Ай угомонил?» – «Угомонил, говорю, давай тушку тащить...» Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал,– сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

– И по рублю, говоришь, наградил вас?

– Верное слово,– ответил Пашка,– прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окурок.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

– А дураков, видно, и в солдатах много.

– Это как же так? – спросил Пашка.

– А так,– сказал Иван.– Ты что должон был делать? Ты должон был не волочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем стать при мертвом телу. Теперь расчухал, ай нет?

III

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «Да-а... ловко...» – еще проще.

– А вот я,– начал он медлительно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста,– а вот я совсем задаром согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать, из-за ничтожности: из-за козе своей.

– Как из-за козе? – в один голос перебили старик и Пашка.

– Ей-богу, правда,– ответил Федот.– Да вы вот послухайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приготовляясь слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

– Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, ненароком... Он же меня первый избил... А потом пошла свара, суд... Он пьяный пришел, а я выскочил сгоряча, вдарил бруском... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих коз, не мужицкое это дело, и обращенья с ними мы не можем понимать, а тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать,– и так все смеялись, отговаривали,– да прямо нужда заставила. Угодий у нас нету, простору и лесов никаких... Прогону своего у нас спокон веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по пара́м питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего брата, мужичка, за всю эту инструкцию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбыть, три дни на молотьбе... Сосчитать, сколько это будет? – сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

– Избавь господи!

– А ко́зу купить,– продолжал Федот,– ну, от силы семь, али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать – бьет их дюже, когда ко́тна, а зачнет починать, злей собаки изделается, зрить их не может. И такая цопкая скотина – это ей на́ избу залезть, на ракитку,– ничего не стоит. Есть ракитка, так она ее беспременно обдерет, всю шкурку с ней спустит – это самая ее удовольствие!

– Ты же хотел рассказать, как человека убил,– с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка – убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

– Да а я-то про что ж? – ответил Федот грубовато и заговорил немного живее.– Ты не можешь этого дела пони-

мать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей жить – это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал,– сказал он, обращаясь к старику.– Девять с полтиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли кажный день скандалы. Взял, говорю, пустое, восемь за ко́зу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещество, ребятенкам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру – глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать – «Где ж, говорит, полтинник? проглотил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Слово за слово... Такой скандал пошел, не приведи господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

– Это своя допущенье,– деловито вставил Пашка.– Их не бить, добра не видать.

– Понятная дело,– сказал Федот.– Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удой оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, бруха́ться приучают... Только ворочáется вечером стадо – смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесно́й пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разлетится, разлетится – раз его в кичку! До того его изняла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она – шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел,– как скрозь земь провалилась...

– Ну, правда,– яд коза! – сказал старик.

– Ха! – злорадно ответил Федот.– Да это еще что, ты послухай, что дальше-то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попáнется она волку нá зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись наране в лес, кажись, живого места не оставили, все до шпенту объелозили – нигде нету! Затужил я бо-зна как, однако еду пахать,– как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под ме́жу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет – вдруг, слышу, кричит что-й-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит,

дергает бородой, хлеб лопает... Кинул я поскорей соху – к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, она от мене: отбежит, остановится, жует хлеб – и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва – за всем моим движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется поймать, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: обертывается, поглядывает, хвостом трясет,– ну, прямо насмешничает!

– Что и говорить, скотина беспечная! – сказал старик.

– Про что ж я-то говорю! – воскликнул Федот, поощренный сочувствием.– Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь – смотрю, несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом – и прямо в сенцы. Я со всех ног за ей, зажмал ее в угол, затянул через рога подпояской, зачал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, боле часу драл, верное слово. Посадил потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране – опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой покрытый армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми онучами, в больших лаптях ноги. Иван, надвинув на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дела, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

– Спать пора! Завтра домелете!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочувствием к его смешному и горькому положению, совсем перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от вет-

ра, и от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником вырезывалась в звездном небе рига, дул ветер по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе и опять стихало... Глубоким сном спали, утонув в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

– Да, братец ты мой,– говорил Федот,– истинно до слез меня довела! Сказывают мне, наконец того,– загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жребий мой. Прихожу на деревню, где ни гляну,– никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, вспрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной поневе под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

– Ошалела, значит, от старости,– вставил Пашка, так хорошо засмеявшись, что гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть – это он все наврал на себя!»

– Ошалела,– подтвердил Федот.– Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» – «Что нужно? По делу. Вы мою ко́зу загнали, держите приблудный скот, а объявление не делаете».– «Никакой, говорит, твоей козе мы не держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чего-йто. Та-ак, думаю, значит, опять моя дело табак. Ну, погоди ж ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стежку по конопям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходил?» – «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за избой: «Кузь-

ма, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» – «Скорей, говорю, беги, вон мать с крипивой идет». А она и вот она – увидала его, бежит: «Не табе сказала за малым смотреть? А табе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! «Ты чей?» – «А тебе, мол, что за дело?» – «Да нет, ты скажи, ты чей?» – «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу». – «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой спокою всему селу не даешь!..» И вижу вдруг – несется ко мне высокий мужик от рыги – без шапки, распояской, в сапогах. Набежал со всех ног: «Твоя коза?» – «Моя». Развернулся – как ахнет мне в ухо!

– Чисто! – в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул: вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:

– Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгреб его за руки, вспрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять вспрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно, – подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь, – драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками, ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жиляет. «Здравия желаем, мол, дозвольте вспросить: у вашей милости моя коза?» – «А вы кто такой?» – «Хозяин этой козе». – «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду дальше, взошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком, – лошади жирные, рьяные. На крыльце лакей с двумя бородами. Выходит барышня взрослая, в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша, – кричит в дом горничной, – скажите барину, чтобы шел скорей. Он в манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в мундире с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пéлену, ищет что-й-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет, – воробьями занялся. Он глядит, кричит: «Лови, лови их, сукиных детей», – а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и óб земь бьет. Увидал меня: «Ты что?» – «Да вот, говорю, мою кóзу ваш садовник на земля-

нике прихватил. Дозвольте ее взять, убить».– «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрахую на два целковых».– «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этим. Такой грех, говорю,– у меня ее завсегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно,– пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись,– катаются, блюют, а жена-то, признаться, тоже не доглядела, в пуньке лежала, на крик кричала – рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее,– смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошку попросить да у огородника ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут же и пристукнул ее.

– Пристукнул-таки? – спросил старик.

– Обязательно,– сказал Федот.– «Ну, бери, говорит, только смотри с моими не смешай».– «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я,– сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жу́стрит что-й-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал,– она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в земь да как стреканет по овцам,– так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я наконец того, пока она под самый перемет подошла – цоп ее за рог! Как закричит она,– даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши – в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили – и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась – взнесла ж ее вихорная сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть – плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился – да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежа-

ли мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

V

Помолчали. Федот приподнялся, сел и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через минуту гимназист с ужасом и отвращением увидал то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распутав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрав, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубеневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве,– точно натертую черным воском,– и тряхнул ею, развевая по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! – дрожа, подумал гимназист.– Это нога настоящего убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу! Но Пашка! Пашка! Как он мог так весело рассказывать? И с наслаждением: «Аж в спину выскочило!»

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

– Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмехнулся.

– Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твоей козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. Тоже вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: боятся, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... посмирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на́ поле, веревками обротали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да освежевали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор,– разлетелся, грохнулся и околел тут же... кровью весь исшел.

– Как? – сказал гимназист. – Кожу содрали? С живого?

– Нет, с вареного, – пробормотал Иван. – Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

– Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им – стражники. Мужики с кольями, с косами, – на них. Стражники сделали залп, да, понятно, дра́ло... какая там черт сила в этих мужланах! – а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и брыкнул. Так, господи ты боже мой! – сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудобней, – чего только не натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребенка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя – и давай барина по голове этим ребенком мертвым охаживать! Сгреб за ножки – и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-собором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Тут неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

– А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... бяда! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зерькала́ в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все из тины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользанет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем... – Кирюшка приподнялся и, смеясь, облокотился. – Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармоньи играет!

Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал досказывать свою историю:

– Да-а, шмурыгнул меня по уху да еще в суд на меня подал... за эти, значит, за все протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рослый мужик, красный, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел по́ уху и на меня же подал!

Тут самая рабочая пора подошла, дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «Покарал его господь»,– он помолчал и продолжал:

– Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, говорит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя утешу». Хочу от скандалу уйтить,– за пельки хватает... Потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерко́м пушить. А у меня дочь взрослая...

– Неладно! – сочувственно крякнул старик и зевнул.

– Хороша лада! – сказал Федот.– Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темняет. Слышу – подшел к избе, буянит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он погамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андрюшка бьет!» Я выскочил с бруском от косе, да сгоряча – раз его в голову! А он и на́земь. Подскочили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примочки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая по́ пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

– Я в пуньке под стражей два́ дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, смотреть этого убиенца и меня, конечно, в том

числе. Лезут под самую пуньку... Вынесли две скамейки на выгон, поставили под самой пунькой, положили на них убиенца. Под голова́ чурбан подсунули. Резаку и следователю стулья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал – лежит, вижу, труп совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху, сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где ото́нок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь – как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная сгущенная кровь, – где, значит, удар-то был. Резак говорит следователю, а тот пишет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпиливать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилкой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

– Что делают, разбойники-живорезы! – хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

– Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрушшам. Вырубил косяк, стал отдирать – трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю нутренность...

Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормит темно-желтой, длинной, тощей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами, в кровь источенными несметны-

ми избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка,– есть только зипун с большой прорехой на плече,– у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестевшим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув хвосты.

Капри. 9–23.XII.1911

ВЕСЕЛЫЙ ДВОР

I

Мать Егора Минаева, печника из Паже́ни, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее – окрестили в насмешку веселым...

Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только подобрей характером.

– Сосед он хоть куда,– говорили про него,– и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может.

Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косой простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень – черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, борова́ почистить – на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка.

Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло добрые люди. Да мешала Анисья.

Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и, откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку,– курить начал по восьмому году,– а глубоко дышал от расширения легких, и, когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху во́рота бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном теле. Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца – на звериный коготь, а указательный и средний пальцы – короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она – суха, узка, темна, как мумия; ветхая понева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки,– сём, пересём, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала,– авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «До́веку не женюсь! Теперь я – вольный казак, а женишься – журись о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо

избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку,– кто-то ехал по деревне с колокольчиками,– а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка... Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку: все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее – к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки,– «старый черт работу отбивает!» – стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сослепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сада яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак – горбушку черствого хлеба...

Замуж вышла Анисья рано,– рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать комунибудь душу выходила она за Мирона,– тоже печника, вольноотпущенного дворового,– и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется – святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! – говорили соседи, радуясь такой забаве.– И веселый же двор, ей-богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калекой меня сделаешь!»

Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести – все как у людей... Двадцать лет тому назад замерз Мирон,– ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны,– и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто

заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый,– на словах только бесстыж и горяч, не то, что отец-покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!

Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело и ни с того ни с чего,– вот как Мирон за чужим обозом,– уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он бéз году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее вечного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся,– оборванный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью,– был какой-то, хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву,– сказал только: «Да ай велика беда?» – и опять исчез.

В мае нанялся он караулить Ланскóе, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцати. Положили ему отвеснóе только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватает... И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.

В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решилась она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью – и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться – старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой – мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая,– крупная, с большим бледным лицом и большими серыми глазами навыкат, хорошо и нарядно одетая – в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назади, в красную шерстяную юбку

и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее,– та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запамятовала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.

– Три недели тому назад схоронили, сударушка,– ласково говорила старушка Анисье.– Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал,– мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем,– воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся... «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал – понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилу назад дошел, ноги подламываются...»

Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитято хоть криво, а матери ро́дной все мило,– подумала она и вздохнула от грустной нежности к сыну.– Пойду, была не была, авось не чужая...» А старушка продолжала, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:

– Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре́ нынче день хорош, поводите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку – о́вцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас...

И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится,– авось не объест, много ль ей и надо-то...

Старушка сказала:

– Да ведь как сказать? – не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А по-

слышишь кругом,– правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные... Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад – иди.

– Он не может не кормить матери,– прибавила молодая.

И Анисья повеселела.

– Ну, ин, пойду,– сказала она нерешительно.– Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет,– не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть... А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил... Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ка обидится...

Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора,– погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкоровый платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святый боже, святый крепкий...» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши... Ну, да сам же виноват, думала она,– забыл мать, до крайности довел. А бог милостив, он видит нужду: похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется... И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Пажень. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную толстую, отекшую старуху в ватной кофте и валенках.

– Что ж просишь? – медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом – накинула его на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» – гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак – «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах... В пазах стола застряло когда-то поря-

дочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да, уходя, не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просучив ногами,– жгли их блохи, жиляли мухи,– заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж ободнялось – и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь... Бог милостив – чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это – счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену... По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившиеся холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу...

Весь май, весь июнь перепадали дожди. Хлеба́ и тра́вы в нынешнем году чудесные. Путаясь худыми ступнями и поневой по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевитые стеблем овсы. Клины цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный,– усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами, чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно,– вплоть до станции на горизонте,– сообразила, что дала крюку.

С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии,

мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распустив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидала она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой поневе, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху, – и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели – и она постояла, выждала, пока они скрылись...

Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо – плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймаешь, не задержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то – и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся мушки... Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потише надо...» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить...

Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес над простором серо-зеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами – бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки... Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался из них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах... Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да

вон и едет кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурив глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубахе, в городском картузе, в замшевых рукавицах... Какой-то особый вид у этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью... А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Анисья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса... Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта – и не увидал бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце: должно, едет кучер к часовому поезду на станцию,– у людей обеды на дворе...

Она забыла о мельницах – мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы – перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала,– дело привычное слушать эти несуществующие голоса! – думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи, висевшей на плетне, то о своей близкой смерти... «Постыдилась бы, постыдилась бы!» – звонко кричали бабы. «Надо сесть»,– отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначено? Богом? «Нет, сыном, Егором!» – крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по меже, и во рву под межою – всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» – подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую

руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышиным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и – спать... Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убегала в поля зеленая межа. Не мало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло,– холодом облила голову, отняла плечи, заныла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье...

За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!» – тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородищей ворот длинной рубахи, подоплека которой чернела от пыли и пота. «А напиться, ро́дный, нечего?» Он, шатаясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно»,– сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый шапкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленовато-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его – цвета свеклы – напоминали сошники. Но сразу видно – редкой доброты человек... Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка,– и не смогла, не сумела...

Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала гла́за с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки,– со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымча-

том небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темно-зеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когда входишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чащá. Трáвы – пó пояс; где кусты – не прокосишь. Пó пояс и цветы. От цветов – белых, синих, розовых, желтых – рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрестанном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько – земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом – полынь, лопухи, крапива, в крапиве – избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, сероусый, с гноящимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкарой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрехал – каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее – и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она – подходить ли?

– Егорушка! – слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки – и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! – равнодушно сказал его взгляд. – Ну, нам с тобой делить нечего... А Егора нету...» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чекканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян. Ша-

таясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке,– нет ли ключа. Не нашла – и догадалась: отогнула дужку замка́,– он, конечно, был не заперт,– и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...

Есть – об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки – и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых кольев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то – не то сына, не то смерти,– сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.

«Либо мне мерещится?» – подумала Анисья – и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки...

Весь потолок прорастал грибками – часто висели они,– тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками,– черными, траурными, коралловыми,– легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поесть? Нет, помрешь – и растащут тогда соседушки избу в Пажени по бревнышку... А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает,– и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие... На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал,– скорлупа-то возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками... Анисья откидывала назад голову – и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась

она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, проносился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов – бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер...

Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-ти-и... Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру... Но, все понимая, она спала, спала – и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку,– надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом – и все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, крýгом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубахах – и от этого тошнит, мутит... Жарко, тяжко, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев – рожков, сусликов, жамок – и не дает ей допить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «Запрягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла... в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают,– нет, Миронушка, видно, надо лечь поскорей... Как лунатик, шатаясь, шепча, поднялась Анисья с лавки, вытянула из окошка полушубок, свернула, кинула на лавку, в изголовье... В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть...

Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором чернó зеленели верхи кустарника – на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер...

II

Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен – и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены – насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услыхав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрещину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды-таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике – и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.

Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то называл своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» – то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.

Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготовляясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.

Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства

и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор,– проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом,– когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль,– стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весеннему, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белизной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то приедут нынче к вечеру, не то нет... И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на нарах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, тряхнул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.

– Свою прежде наживи,– говорила Марья, блестя злыми глазами.– Тогда и давай, когда наживешь. Побирушка, черт!

– Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану,– твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая ноздри.– Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.

– Рот ты мне не смеешь зажимать,– говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.

– Молчи лучше,– отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.

– Не форси, авось тебя не боятся!

– Погоди, девка, побоишься! Авось заступников-то немного!

– Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость...

Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему...

– Что-й-то Москва-то скоро прискучила! – сказала Марья, напоминая мужу его поездку в Москву, поездку, столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке.– Что-й-то скоро заявился! Видно, вас таких-то не мало там околачивается!

– Ты лучше, сука, за своим делом смотри,– ответил Герасим.– Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиньям, что ль, месила? Так ведь тут не свиньи обжорные!

– За мной гаять нечего,– отозвалась Марья.– Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди.

Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва,– и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А бесприменно удавлюсь я! Ну их всех... куда подале!..» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему цигарку, потянулся к нему с трубкой. Не глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.

– Гашка-то небось чуточку поболе твоего работает! – говорил Герасим, не зная, что сказать.

– Авось и мне за тобой, за чертом, не сладко,– отвечала Марья.– Десять лет воро́чаю!

– А-а! Ишь актриса какая!

– Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала...

Егор не дослушал и вышел.

Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип – это уже порядочно надоело. А тут работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвесное идут да идут... Но и дни шли – и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь?

И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалованье и отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с приятелем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерек – было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, черт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес – стал и дневать и ночевать в Гурьеве. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.

Вот и в тот день, когда шла в Ланское Анисья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось – и, выйдя их избы, он долго лазил на коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спелую, иногда совсем зеленую, твердую... Потом не спеша пошел в село.

«Главная вещь – хлебушка надо разжиться», – думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.

Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну, да плохи не плохи, авось не первая волку зима!» – говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами, – водяной и ветрянкой, – стоит на реке, тонет в целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах – несметные тысячи. «Такого села, – говорил Егор, – ни в одной Америке не на́йдешь!» Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел не долгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги среди зеленой муравы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жестью, возле церкви – новое кирпичное училище, посре-

дине – мирской хлебный амбар, гамазей, а справа – тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, сыры. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.

«Чудеса,– думал Егор, направляясь к ветряку и обсуждая, как всегда, то, что случайно попадет в голову.– Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать,– клад чистый...»

Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за селом, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревело и блеяло стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами... Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала замотавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал, что попало, ждал зачем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали – и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, щипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жестью, глядел на гамазей. Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был темный, снизу светло-рыжий, сухой... Егор невесело усмехнулся и, скользя, разъезжаясь по грязи лаптями, побрел к избе мельника.

Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это нисколько не смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак привета, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлах, и сел на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик-мельник

гнулся на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просевавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, головаст, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный,– резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, большие открытые ноздри стали от нюхательного табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющуюся из-под решета, он равнодушно спросил Егора:

– Что, ай соскучился в лесу-то?

– Что ж мне скучать,– не спеша ответил Егор.– Дело есть в селе...

И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по́ пояс залез в темную жаркую глубь печки.

– Нуждишка есть,– глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.

Алена, подсевая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» – подумала она. Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растравляя себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? – думал он рассеянно.– Да черт с ними, посижу еще маленько... Жрут, жрут, по два раза на неделю хлебы ставят и все не облопаются»,– рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печки, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, вроде крышки гроба, росла на столе, то на Алену. Толстые руки ее, засученные по локоть, были запорошены мукою; на пальцах блестели медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отвалясь назад, выставляя свой страшный живот, мерно трясла задом.

– Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? – спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегавшую на его белесые от голода и трубки губы.

Алена промолчала. Анютка, ее девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волоса-

ми, все лезла, наваливаясь на стол, пальчиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алена вдруг звонко щелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

– Сказала, ня налягай на муку! – крикнула Алена своим грубым однодворческим голосом.

– А вот я ее ножиком сейчас зарежу, – сказал, входя в избу, Салтык, молодой работник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.

И стал вешать на стену, на деревянный костыль, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздок, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадью травяная пена.

Вид у Салтыка, недавно отбывшего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:

«Верно, Аленка и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло растянул!»

Он, сипя, носил грудью, показывая в прореху обитого ворота бурую полоску загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отекшее лицо его. Он был тяжко болен, но чувствовать себя больным давно вошло в привычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алене, когда думал: «Я бы ее шкуру на пяло растянул», – хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой – тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадется на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они небось никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да

что делать-то, если не сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый черт?

Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледно-зеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плисовый кисет, не спеша свернул и загнул крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломину, закурил, сел на лавку.

– Подсевай, подсевай,– кинул он Алене, затягиваясь.– Что-й-то пирожка хочется.

– А рожна ня хочется? – спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.

– Их, пироги-то, надо уметь с умом печь,– сказал Салтык, далеко сплевывая.– Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тифлисе служил, так там хозяйкина дочь завсегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты – пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.

– И то правда,– отозвался старик.– Ты, известно, все знаешь: где какие жители, где какие города...

Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал...» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но намерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило в тупик – и перед кем же! – перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбрешет Салтык?

– Как же мне не знать! – сказал Салтык.– Да я не то что, я, как осень, беспременно опять туда! Там сейчас самая колбня идет,– сказал он, мельком взглянув на Алену и усмехнувшись.– Да ей-богу: веселье, гулянье – кажный божий день, с восьми утра до двух ночи. Особливо в курсовых, в Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках...

– Значит, скучать не имеют права,– вставил старик и достал из кармана полушубка тавлинку.

– Ну, только там с деньгами хорошо,– продолжал Салтык, не слушая старика.– Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не стóит. Там кажный грузин агра-

мадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках – так и плескается.

– Имеют капитал добывать его, вот и плескается,– сказал Егор.– Авось, и это дело знаем не хуже твоего,– пробормотал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полушубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.

Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.

– Там, брат,– говорил он, неизвестно к кому обращаясь,– какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три кавадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах завсегда снег, круглый год не переводится...

«Дурак! – подумал Егор.– Без бурки! А спроси его, какая такая бурка – ни елды, кислая шерсть, не знает...».– Бурка, она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? – неожиданно для самого себя сказал он вслух.

И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже... И напрасно, едрена мать, не взял я полушубка!» – подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чекканок.

– По горам там везде стёжки проделаны,– говорил Салтык.– Черкес какой-нибудь разнесется... летит, скачет – как только голова цела! А глянешь нá горы издали – как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить – по таксе, за всход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может кажная раскипятить.

– Нет, теперь не гожусь,– отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком.– А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтиться.

Егор ухмыльнулся и хотел было рассказать, как один печник бобровым стручем опоил, отуманил, обольстил генеральскую дочь,– рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.

– Будя, бряхучий! – крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к щекотливым разговорам.– Бу-

дя, бястыжий! Старый человек, а що бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!

– А я что? – сказал старик. – Я ничего.

– Народ там красивый, не униженный, – продолжал Салтык. – Есть старики по сту лет живут...

Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой черт, спрашивается? Но опять его перебили.

– Ну, об этом ты оставь! – сказал старик. – Взять хоть к примеру меня такого-то; живу я семьдесят годов, шашнадцать человек своей крови похоронил, а прожил бы до́ ста лет, от меня опять пошли бы плоды... Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку – сто пять, говорит. А уронил шапку – поднять не может.

– Это барский-то? Какой табе! – весело крикнула Алена. – За водой еще сам ездит! Скоропостижнай дед!

– Не хуже моей старухи, – сказал Егор. – Животолюбивая старуха! А я ее корми, журись об ней...

– А вот говорят же умные люди, – сказал старик, – можно, говорят, век прожить, а как умрешь, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был, на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто кажный человек может свое тело захолодить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.

– Ну, это зря брешут, – возразил Салтык.

– Книги, значит, доказывают.

– Книги! – ухмыльнулся Салтык. – Ни ж можно с холодной кровью жить?

Егор, обиженный равнодушием, каким встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.

– А рыба? – спросил он. – Может же она с холодной кровью жить и распложаться?

Салтык повернул к нему голову.

– Та-ак! – сказал он насмешливо.

И вдруг решительно заговорил:

– Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь – она с холодной кровью, а выложи ее на́ берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!

Егор внезапно разгорячился.

– А я так скажу,– крикнул он,– а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пищи! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пищи захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был...

– Ну, и вышли оба дураки! – закричал и старик, поднимаясь.– Терпенья у нас не хватает, вот и не можем захолодить! А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие богу-то угожали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три года одной редькой питаться?

– Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? – крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта.– Она вон тоже не ест, не пьет... У нас вон даже и редьки твоей нету...

– Постойте,– сказал Салтык,– погодите лапить-то!

И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:

– Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?

– Да будя вам бряхать-то! – громче всех закричала Алена, бросая решето.– Га́лманы!

– Да и правда! – подхватил старик.– Бога-то попомните! Он, брат, за такия речи не спускает нам, дуракам!

Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, на которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:

– Пусти-ка-ся! Уселся на ширинку – и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

– Это не твоя забота,– возразил Егор,– я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланское? – и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по косогору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлебая из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыс-

лях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то – неотложное, самое что ни на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в голове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и захолодить свое тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника все чепуху говорили... Но кузнец был дома.

Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей, люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовать мальчишек по закону божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.

Он сидел возле кузни, на косогоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходился с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер... что́ стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косогор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с по-

хмелья и думает, значит, вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашлял и ждал, когда наконец додумает кузнец свою думу. Как и у Егора, мертвенно было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивая сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брови и блестящи глаза. Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро разуваться, раздеваться.

– Ай ты очумел? – крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху. – Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдется в воде в этакую стыдь!

– Вона! – крикнул кузнец хриплым басом.

И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаясь, чтобы шаркнуть в воду:

– Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашлось у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал... Не попадая зуб на зуб, выскочил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес – этого Егору не надо было пояснять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в починку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгующему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с кузнецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли захолодить свое тело, чтобы не тлело оно после смерти...

А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, шатаясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора – полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестевших верхушками под опускающимся

к югу месяцем. И по́лосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями, над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку – и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, недвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись, Егор вдруг закричал таким страшным сиплым голосом, что с шумом выскочила из лопухов старая черно-седая собака...

III

Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью – хоть бы и не Анисье впору.

Медленно, с большими промежутками, зачинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альта. И наступало долгое молчание: слышалось только,– из-за ракит по дороге в Ланское,– протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.

Слегка поката дорога между ракитами на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинут был на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный, с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, останавливались, махали кадилом и, пугая самих себя словами, повторяли одно и то же – то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы вы-

ходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мелкий черный ящик, где она покоилась,– парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: боже, скольких уже покрыла она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но широким лицом похож на зверя. Желтоволосый поп, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подолы, калоши – все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телегами и мелкой, навозной соломой в телегах.

И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки – то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившуюся толпу в церковные ворота. Ветер развевал тонкие русые волосы, шеи несущих гроб были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем через плечо в возглавии гроба.

А в церкви все немного оробели. Притихли – и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобождая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотки пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блистали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гремело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Анисье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смиренно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Анисья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое веко ее право-

го глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы – золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ногтями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск...

Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеко были его мысли, и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась – началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле – не спеша и с толком...

Так и сделал он, засыпав мать землею: ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, – нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни.

Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался – в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умерла мать – он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля – вся земля – как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?

Он не думал об этом вопросе, – только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у откоса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, побледнев.

– Что ты, дядя Егор? – испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.

Егор, бледный, слабо улыбнулся.

– Так... что-й-то померещилось, – пробормотал он.

И опять прилег.

Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полушубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушивать-

ся к приближающемуся шуму товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полушубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда, потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидали мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновенье перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая кверху два толстых обрубка – две ноги, ужасающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал по́д ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа...

Так разно кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.

Капри. XII. 1911

ЗАХАР ВОРОБЬЕВ

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь,– ему было сорок лет,– не покидало его и другое чувство – смутное чувство одиночества: в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня,– говорил он порою,– да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от

него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котик,– опушка борта и воротника,– был еще остист и жёсток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипо́во и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

– Что?– удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом.– Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

– Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы таперь для праздничка выпить маленько»,– шутя сказал он в Шипове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес»,– ответил кучер. «Не на что, протратился, и так в грузовом вагоне ехал»,– сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой,– он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал,– урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

– А с закуской?– спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

– Можешь требовать чего угодно, на полтинник,– сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

– А проспоришь,– прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом,– а проспоришь, за все втрое отдашь.

– Нехай будя по-вашему,– снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну,– где дело кончилось превосходно, миром,– не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть – это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера – невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой,– есть очень хотелось, каждый кусок был сладок,– потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестевшие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал – подрукавным хлебом. Урядник – скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами,– урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

– Чем дело-то кончилось? – говорил он.– Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три – из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, чтó делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них

горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

– А на судах этих чудно́! Я и итить-то туда не хотел. Слышу – подал прошенье. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь – надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужашная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнущей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутыль возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутыль, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно насмешлив.

– Ну, являюсь, – говорил он, прожевывая и раздувая ноздри. – Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, – Захар повел рукой налево, – урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» – «Здесь». – «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слухается, доедает...

– По морде бы его этой грушей, – сказал кучер.

– Верно! – подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю, булку. – Стоит и лопает! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот самый

хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лесишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на дерева, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне свершить опись. А когда я взошел к ему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жане, где тут у нас безмен, что́ было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте вспросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занесть в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Левонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энтот день пропал бе́з вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

– Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

– Успеется, успеется,– ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

– Да не гамазись ты, черт курносый! – гаркнул он добродушно.– Дай доказать-то! Я свою время знаю,– выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованых каблуков,– он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища,– лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

– «Катерина Галкина! – громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. – К допросу. Подойди поближа!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» – «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» – «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж о́сты вешать». – «Значит, ты от этого отказываешься?» – «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите, – и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает – ноздри рвет. «Иму́шшество, говорит, моя, за сына я не плательщица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки». – «А сын-то чей же?» – «Мой». – «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушшество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на́ хлеб, на́ воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Левонов? Подходит дочь его Винадорка. – «Иде отец?» – «В клети, после обеда отдыхает». – «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

– Близко, значит? – перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. – Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, – он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

– Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу – без шапки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы гу́стые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем – за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошушукался что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою

гляньте. Ну, ясна, светла,– вся писаная, в яблоках!» Смеется, моршшится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге – хворсит...

– Форсит-то, форсит,– опять перебил урядник, вынимая часы,– а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

– Как? – строго крикнул он.– Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

– Прошел, брат, прошел! – подхватили кучер и Алешка.– Допивай, допивай!

Захар дохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

– Стойте! – сказал он.– Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! – попросил он сумрачно.

– Ага! Покаялся! – крикнул кучер насмешливо.– Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутыль за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

– Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь – буду доказывать! – с упрямством хмелеющего человека сказал он.– Вот ты и глянешь, напоил ты мине, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

– Таперь вы обязаны слухать! – всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: – Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и бородка клинушком. И еще пуще старика моршшится,– не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то,– бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возьмись глушить его большими стака́ми... Вызывают его. «Как тебя зовут?» – «Был Василий».– «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конешно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру по-

орать. Вспрашивал, вспрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову – и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул».– «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого».– «Ну, пойдемте, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вóроны, на срубленных деревах возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные – что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней,– у того, по крайности, степя аграматные... А старик кричит,– у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц,– и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги – малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» – думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще бу-

дет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирал горизонты. Он смотрел на небо – и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя,– дойти до Жилова раньше, чем оно сядет,– и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько – у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» – думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! – сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» – думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной

куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига – все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! – крикнул он, быстро подходя к старухе. – Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, – она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, – зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? – гаркнул Захар грозно. – Раз тебе вспрашивают, можешь ты мне не отвечать? Знаит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят – баран заваляет, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» – «Не могу я тебя пожалеть! – еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. – Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, – говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» – «Не могу, батюшка! – отвечала старуха. – Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...» – «А я табе говорю, не голоси! – говорил Захар. – Всякий свою стежку то́пча! У всякого своя печаль! Копти! – гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. – Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» – «Ох, постой, – застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. – Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров – костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде

ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами – толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие – две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

– Фу, пропасти на вас нету! – шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь. – Как подохли все!

Ему захотелось рявкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. «Да нет, нет, – подумал он, мотая головой, – ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось – и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светоноснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, – выставив кострец, и, как обезь-

яна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих бельм с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнущие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

– Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

– Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени – и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачнейшим дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Капри. Февраль. 1912

ЗАБОТА

Солнечный осенний вечер прохладен. Из-за дворов большого села, растянувшегося по скатам к лугам, к родниковой речке, желтеют новые ометы и скирды. Улица села в тени, солнце опускается за дворами, за гумнами – и ярко краснеют против него глинистые бугры по ту сторону лугов, блестит на этих буграх стекло в избе мельника.

Старик Авдей Забота, зажиточный мужик, собирается в город.

Возле его двора, на дороге между двором и пунькою,

дремлет запряженная в телегу сивая кобыла с мелкими, врозь расставленными копытцами, с большими ресницами, с серыми усами и большой шершавой нижней губой. Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на плоской спине его, под линючей ситцевой рубашкой, выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, набитой соломой, с молотком в руке, держит губами пучок гвоздей и ни на кого не смотрит.

У него горе.

Он в последние дни мучился думами: продавать ли барана? Баран стар, но продавать его не след, не время. Продавать нужно было бы хлеб. Осень погожая, урожай отличный, одна кладушка уже обмолочена,– только бы насыпа́ть да в город. Но цены на рожь, на овес стоят страшно низкие. Ни зерна нельзя продавать, как ни торопи нужда... Продумав неделю, Авдей решил расстаться лучше с бараном.

Но он постарел за эту неделю, осунулся и потемнел в лице. Взгляд его тверд и сумрачен. Собирается он, ни на кого не глядя.

Дочь, в нижней коленкоровой юбке, без кофточки, в одних шерстяных чулках, раза два робко и быстро перебежала дорогу от избы к пуньке. Она тоже собирается – на девишник к подруге, но боится отца, боится своей затаенной радости, своей беззаботности рядом с его заботой,– старается проскользнуть незаметно. Братишка, пузатый мальчик, в огромной старой шапке, облизывая губы, разъеденные соплями, долго хлопал, размахивал обрывком кнута и падал среди дороги. Чтобы угодить отцу, она на бегу поймала его ледяную пухлую ручку и таким вихрем умчала его в избу, что он не успел даже крикнуть.

Старуха стоит на пороге и не сводит жалостных глаз с Авдея. Она положила тонкую серую руку на выдающийся живот, а другую, подпирающую подбородок, поставила в ее ладонь. Темная, морщинистая, зубастая, она имеет вид страдальческий. Понева ее коротка, ноги длинны и похожи на палки, ступни, потрескавшиеся от грязи, холода и цыпок,– на куриные лапы. Живот ее выдается, а спина горбится от трудных родов, от тяжелых чугунов. В разрез рубахи, темной от золы, видны тощие, повисшие, как у старой собаки, груди, а меж ними – большой медный крест на засаленном гайтане.

Ее заботы сделали за долгую жизнь страдалицей, Авдея – нелюдимом.

Телега рассохлась, растрепалась. Раскапывая старновку

в ее ящике, Авдей прибивает кое-где отставшие планки. Дует предвечерний ветер и задирает сзади его рубаху, обнажает желобок на широкой сухой спине, показывает тугой гашник, низко врезавшийся в тело. Портки Авдея висят по-стариковски – точно пустые. Подошел кобель и стал обнюхивать разбитые, блестящие, только что помазанные дегтем сапоги, в опустившиеся голенища которых заправлены эти портки. Авдей с размаху ударил кобеля по боку молотком.

– Полушубок вынеси да хлебушка завяжи, – сердито сказал он старухе.

Забив последний гвоздь, сдвинув со лба шапку, он решительно пошел в раскрытые ворота унавоженного двора. Половина его была в тени, половина озарена золотистым светом. В теневой половине куры усаживались на насест, на перемет, побелевший от их известкового помета, и заводили глаза. Нахохлившись, сбились голуби под застреху в углу. Они слабо заворковали, когда вошел Авдей... Как радовали его всегда эти хозяйственные куры, голуби, этот теплый двор, его глубокий навоз, плетенные из лозняка и обмазанные коровьяком с глиной закутки! На старой телеге без передков, давно загрязшей в навозе, валялся обрывок. Взяв его, Авдей направился к закутке, где взаперти сидел баран.

– Батюшка, мать вспрашивает: огурчика положить? – крикнула девка, заглядывая в ворота.

– А сама не знает? – строго откликнулся Авдей. – Ай первый раз?

За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Большой круторогий баран в толстой, вьющейся дымчатой овчине, с удивленным бараньим взглядом, с бараньей щеголеватостью, ходил по соломе, мелко тряся жирным хвостом. Быстро распахнув дверь, Авдей кинулся на барана всем телом, сбил, повалил его и торопливо стал связывать обрывком его тонкие ножки. Баран удивился еще более, но не издал ни звука, только глаза выкатил. Авдей поддел под связанный обрывок руку, натужился и, волоча барана спиной по навозу, потащил его за ворота, к телеге. Баран, выкатив белые глаза, сделавшись похожим на турка, мелко и быстро тряс хвостом и лизал шершавым языком руку Авдея...

Через полчаса Авдей в пути.

Медлительно скрипит, тянется с горки на горку, проходит мимо изб и пунек, то в тени, то на солнце, по-дорожному пахнущая дегтем телега. В задке ее лежит веревочный хрептуг с сеном, в передке, на старновке – связанный, спо-

койный баран. Авдей, в полушубке и глубоко надвинутой шапке, с кнутом под мышкой, с трубкой в зубах, изредка пуская через плечо сладкий, пахнущий донником дым, не спеша, по-дорожному, шагает за колесами.

Вот и крайняя изба, голый и широкий большак: тут поворот влево, на город. С неподвижно простертыми обломками крыльев стоит на нем ветряк, как стоял он и шестьдесят лет тому назад, когда Авдей был еще ребенком. Возле беззаботно перекрикиваются, прыгают на одной ножке, играют в лунки мальчишки... «Подождите, доиграетесь!» – думает Авдей.

Под скатом мелкая речка разливается широким плесом по белому щебню, кое-как перекинут мост на ту сторону. Плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях. По мосту едут бездельники-охотники: высокая гнедая лошадь, беговые дрожки, на дрожках, один за другим, сидят верхом два человека, и торчат из-за спин два ружейных ствола. Авдей тянет веревочную вожжу, останавливает свою кобылку и ждет, пока переберутся по узкому и зыбкому мосту встречные. Авдей глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен – как больной.

Наконец перебрался и он через мост. Поднялся на гору, спустился в котловину и опять стал подниматься... Жесткая, выгоревшая за лето мурава ржаво краснеет по каменистым перевалам старой мертвой дороги. Этим перевалам конца нет. До города верст двадцать пять, но он всегда, всю жизнь казался Авдею очень далеким. С перевала на перевал поднимается, идет он, задумчиво глядя вперед. Солнце сзади него, краснеет, садится. Сиянием окружена лежащая по мураве тень Авдея, длинная тень телеги, лошади. Пусто кругом, далеко видно. Воронье бесприютно, по-осеннему ночует на опушке желтых жнивий. На горизонте ряд телеграфных столбов, уходящих в бесконечное поле. Алыми клубами бежит назад дым бегущего товарного поезда – длинной цепи красных вагонов. Авдей до сих пор глядит на поезда неприязненно. Раз в жизни ехал и он по железной дороге. И закаялся: все время кружится голова, все время страшно...

Дойдя до железной дороги, пересекающей большак, он ждет возле переезда, закрытого шлагбаумом. Неприятно рано, по-осеннему, зажгли огонь в будке.

Дальше – шоссе, самая скучная дорога на свете...

Авдею шестьдесят семь лет: скоро умирать. Особой нужды он никогда не знал, от бед, несчастий бог его миловал.

– Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни,– сказал ему однажды молодой барин.

– У меня, слава богу, ничего такого не было,– ответил Авдей.– Вот семой десяток живу, а, благодарю бога, интересного ничего не было.

Но заботы всю жизнь поедом ели его. Жаден, говорили про него соседи победней. «Да ведь тебе, побирушке, хорошо говорить!» – всегда со злобой думал в ответ на это Авдей.

Солнце закатилось, дует холодный ветер. Авдей прикрывает барана соломой, надвигает шапку поглубже, запускает руки в рукава и мерно шагает по краю шоссе за скрипящей телегой.

Широкий старческий нос его сизеет, стынет, ветер косит седую бороду. Большие серые брови сурово сдвинуты, в потухших глазах – тоска.

Капри. 24 января. 1913

БУДНИ

Казалось, что вечно будут стоять по горизонтам эти бледно-синеющие тучки, под которыми серели соломенные крыши, зеленели лозины и пестрели разноцветные клетки окрестных полей. Июньский день без солнца был особенно долог.

Попов сын, у которого гостил семинарист Случевский, возил с попом навоз. Ворота, возле длинной белой хаты, были открыты настежь. Две испачканных коричневой жижей телеги, две сытых лошади стояли среди взрытого двора на варке. Попов сын ворочал за троих: глубоко поддевал вилами горячие пласты и, подставив под вилы левое колено, вздирал их с сочным треском. Поп, черный, высокий человек, в одной рубахе, в розовых подштанниках и мужицких сапогах с опустившимися голенищами, не отставал: бодро тряс по плечам синими волосами, запуская в навоз вилы, и крепко шлепал по возу дымящимися ломтями, перевертывая их. Выходили из ворот и отец и сын с потными лицами, но возбужденные, довольные предстоящим в пути на поле долгим отдыхом.

– Господин Шаляпин, присоединяйтесь-ка к нам! – весело крикнул поп семинаристу, идя за колесами, держа в руках веревочные вожжи и развевая на ходу легкие полы незастегнутого подрясника.

Семинарист, сидевший на крыльце, почувствовал в этой шутке фальшивую, корыстную ноту, однако не сдался.

– Да вот та-то и беда, что мечтаешь стать Шаляпиным,– отозвался он.– Запотеешь, охватит ветром – и готов. С голосом, отец Петр, нельзя шутить. А то бы я с величайшим удовольствием.

Семинарист, темноглазый юноша с широким, бледным и важным лицом, смотрел на удаляющиеся телеги, на серо-сиреневую дорогу и на потные, ржавые клоки, раскиданные по ней. Прошел мимо дьячок, приостановился, пожаловался на свою судьбу и опять рассказал о своем покойном сыне. Огромные руки его, разбитые старостью и пьянством, лежали на костыле и все время ходили, шатали костыль. Огромные дегтярные сапоги глядели из-под коричневого подрясника. Серебряная медаль на красной ленточке украшала грудь. Лицо и крупный нос были розовы, мясисты, в рытвинах. Выпученные гноящиеся глаза, как всегда, плакали; темно-рыжие волосы, заплетенные в косу, жестко вились, как у старух-пьяниц. А говорил дьячок однотонно, с трудом выбивая каждый слог: каждый слог его дрожал, прыгал.

– Отцу Петру счастье! – говорил он.– У него помощник есть. А мой – лежит себе в могилке! Рос – восхищал всех. Бывало, похвалюсь им: «У меня не сын, а гений!» А все говорят: «Если выйдет в вас, Степаныч, лучше всякого гения будет». Вырос,– так, верите ли, хозяйственнее его во всем селе не было! Чахотка в последнем градусе, а и умер, не поддался. «Вы должны на днях умереть»,– говорит фельдшер.– «Нет, говорит, не могу я, не свозивши рожь, умереть». Скосили мы, связали, сидит зарей на крыльце, смотрит на облака, а я ему и говорю: «Что это ты сидишь, смотришь?» А он и говорит: «Давайте, папаш, покуда погодка, на двух подводах возить».– «Да бог с тобой, куда тебе возить! Я мужика хотел нанять».– «Не надо, не надо, сами управимся».– «Как же, говорю, управимся: ее, ржи одной, тридцать четыре копны». А он все свое... Так, верите ли, по двенадцати раз в день на поле летал! И отдыхать не отдыхал,– сядет в холодок, выпьет кваску и опять в телегу. Меня, и то уходил. Чуть свет, еще петухи не крикнут, а он уж подымает: «Вставайте, вставайте скорей, тучки захо-

дят...» В три дня все кончили – и свезли, и обмолотили, и солому прибрали... Гонит меня за веялкой, взял я веялку у Данилкиных, обвеяли, подмели ток... Как последнее зерно в амбар – входит в избу и говорит: «Ну, вот теперь дело другое. Где, папаш, свечи? Зажигайте свечи». Зажгли свечи у образов, он лег на диван – и каюк!

«Недурно», – иронически думал семинарист, слушая.

По уходе дьячка он взял тросточку, надел новенькую серую шляпу, накинул на плечи серебристый дождевик и побрел по деревне. Выйдя на выгон, он посмотрел на церковь, бледно белевшую на туче, посмотрел на раскрытые окна казенной винной лавки; хотел было зайти поболтать к сидельцу, но раздумал и пошел по направлению к погосту. Сиделец был отравлен страстью к чтению. С утра до вечера лежал он на своей высокой двуспальной кровати, опершись на локти, и страница за страницей пожирал «Вокруг света». «Сейчас, сейчас, – торопливо бормотал он в ответ на приветствие. – Дайте только до точки дочитаться...» А беседуя с гостем, не слушал его, невпопад смеялся, ждал, когда гость уйдет. Поминутно отрываемый от книги то женой, то мужиками, он кидал на них растерянные, шальные взгляды. «Корове пора месить!» – злобно кричала жена, отворив дверь. «Еще четвертку поскорее!» – радостно орал мужик, заглядывая в раскрытое окно. А он не понимал, кто и куда его зовет. В голове его путались острова Тихого океана и прерии, Южный Крест и Гренландия, Бразилия и кафры, голландские колонисты и удавы, реки в тропических чащах и гиппопотамы... «И при чем тут Тихий океан?» – думал семинарист, шагая по безлюдной улице. Навстречу ему шел десятский, длинный, в красной рубахе, в разбитых сапогах, из которых один был связан по ступне веревкой. На плече его лежала одностволка.

– Куда это? – спросил семинарист.

– Грачей наказывать, – ответил десятский.

Десятский был человек знакомый: не раз приходил просить газет на цигарки. Полурассыпавшаяся изба его стояла на краю деревни, рядом с погостом. За избой пустовало гумно, без соломы и без риги, валялись, зарастая травой, однозубые вилы, перевернутый вверх дном тележный ящик с двумя новыми, желтыми ребрами, высохшая дегтярка... На лозине вниз головой висел дохлый цыпленок – пугало, хотя отпугивать было некого и не от чего. Гордый своей отчужденностью от этого жалкого быта, своими мечтами о Москве и консерватории, семинарист вышел на погост, на

бугор за деревней, небрежно откидывая голову, выставляя кадык, посвистывая, шурша серебристым плащом.

На погосте, среди репьев, татарок и могильных бугров бродила рыжая лошадь с палевой гривой. Помахивая жидким хвостом, она щипала мелкую, сухую траву. На большой свежей могиле, на холмике из сизой рассыпчатой глины, лежал, с головой накрывшись армяком, мужик. Смиренно, с опущенными хвостами, тихо переговариваясь, гуляли индюшки лавочника. Гуськом тянулись они к мужику – и вдруг все разом пускались бежать, а добежав, подпрыгивали, вклевывались в его армяк, в голову. Мужик вскакивал, запускал в них горстями глины: индюшки подпрыгивали, треща перьями... Сделав вид, что не замечает мужика, семинарист прошел мимо.

Над господскими могилами росли две березки. Когда-то их окружала деревянная ограда, за оградой стояла скамья. «Буду приходить сюда, сидеть, вспоминать и грустить»,– думал тот, кто делал все это. И ни разу не пришел. А деревня мало-помалу разломала, растаскала и ограду и скамью. Свиньи взрыли могильные бугры, телята обглодали стволы березок... С иронической улыбкой, посвистывая, семинарист повернул назад. Поблизости от той могилы, на которой старался уснуть мужик, стоял гнилой голубец. Из него выпорхнула мухоловка. Семинарист подошел: в голубце, рядом с фольговой радужной иконкой, лежало круглое гнездышко. От скуки семинарист хотел вытащить его, рассмотреть, разодрать и бросить. Но мужик открыл глаза и пристально посмотрел из-под армяка.

– Отделались? – спросил он.

Вопрос был неожиданный. Семинарист обернулся и поднял брови.

– То есть как это? – сказал он.

– А так. Отучились?

Семинарист не спеша прошел к соседнему могильному бугру.

– А, ты вот про что! – сказал он, садясь и с притворной рассеянностью поглядывая вокруг.– Да, до осени отучился. А ты, кажется, не здешний?

– Я из Рассохина,– ответил мужик.– Из волости еду. Ехал и думаю,– дай, мол, лошадь маленько покормлю... А вы? Духовные?

– Да... Но, главным образом, пению учусь.

– Как пению? – спросил мужик, зевая.– Хор, значит, будете задавать?

– Нет, брат, не хор,– сказал семинарист и оперся на трость.– Я на сцене буду петь. Да ты, впрочем, этого не поймешь... Я в театр готовлюсь.

Мужик усмехнулся.

– Ну, нет, это я даже очень хорошо могу понять,– ответил он.– Ну, только это совсем никуда, совсем скверно. Этак вы много не наживете.

– Да что ты!

– Верное слово,– сказал мужик спокойно и уверенно.– Там вы добра не приобретете. Нет, вы уж лучше по церковному ступайте, по своему рукомеслу,– кур да ситники с народа огребать. А в театре петь – это уж самое последнее дело.

– Да чем же последнее?

– А так, что последнее. Там чепуха одна идет. Вы лучше мое готовое слушайте, я уж плохого не скажу. Я не простой, я бывалый человек. Я от этих мужиков теперь отбился, я все лето прошлый год в Липецке прожил. Со всяким могу поговорить...

Скучно синело по горизонтам низкое облачное небо, бледно зеленели хлеба на противоположном косогоре,– поневоле приходилось довольствоваться и такой беседой. Вынув плетеный портсигар, семинарист закурил папиросу, другую протянул мужику. Мужик осторожно взял.

– Вот это покорнейше благодарим,– сказал он, зажигая серник, и, пустив дым в ноздри, посмотрев на папиросу, отрывисто спросил:

– Асмолова?

Семинарист напомнил ему о театре.

– А вот слушайте,– сказал мужик.– Я этих театров нипочем не уважаю. Там, прямо надо говорить, черти живут. Раз куренье там есть,– значит, и водка есть. А уж где водка, там и баб не миновать... Нет, от этого вам надо подальше куда подаваться! Вот кто, к примеру, по монастырям живет, монахи, тем хорошо: гуляй, бесись – и вся недолга. Есть чистые борова, домовые! Цельную жизнь бражничают, весь век в том протекают! А в театрах, там водка, бабье, ну, конечно, и он тут же вертится. Уж где вино, там бесприменно он.

– Это ты про черта, что ли? – спросил семинарист.

– А то про кого же? Конечно, про него. Да и верно. Там, куда ни качнись, везде он. Я давно об этом понимаю. Что там хорошего? Я такой-то, и то туда не пойду. Тощавый человек туда и не показывайся – на трояк там не разы-

граешься. А ездят туда бабье это самое, разные бабы шальные, да купечество: долги свои заверстал – и вали... Я в этом Липецке всего нагляделся. Там в трех верстах сад есть, ну, вот туда и ездят все. Забирают с собой ветчину, колбасу копченую, наливки... Приедут и пируют цельный день. Старуха с дедом не успевают самовар кипятить...

Семинарист небрежно сказал:

– Ну, вот и видно, что ты ничего не понимаешь, несешь чепуху и все путаешь. То грех, а то – «на трояк не разыграешься...»

– Обязательно так! – твердо сказал мужик. – По капиталу глядя, конечно, можно, а таким-то, как мы с вами, голоштанным, зачем туда соваться?

Семинарист вздернул плечами.

– Черт знает что! – проговорил он, помолчав. – Несешь и с Дона и с моря.

– Нет, брат, – сказал мужик. – Умней меня во всем селе нету. Обойди всех, спроси: кто дельнее по хозяйству Назар Павлова Протасова? Со мной старики, и то советоваться приходят.

– А несешь чепуху?

– Какую такую чепуху? Воспитанья на вас нету хорошего, вот и «чепуху»... Вон у нас сапожник есть... Первое дело, как выпил, сейчас за ребят: у него их целая война, человек двенадцать... Так они винтом от него, кто куда горазд! Ты не гляди, что он пьяный: так, брат, воспитал – по лычку ходят! А, конечно, теперь всем воля дана... Женщину, например, взять: от кого вся сумятица в государстве идет? Опять же от ней. Она теперь во все председания допущена большое количество, а куда она годится? Хоть им теперь тоже хорошее ученье пошло, ну, а все-таки мужчина-то немножко потверже будет!

– Черт знает что! – повторил семинарист, глядя на его густую чубарую бороду. – Что такое у тебя в голове творится? То сад, то театр, то женщины... Ну, скажи на милость, какое отношение может иметь этот дурацкий сад к театру?

– А такое, – ответил мужик еще увереннее. – Такое, что без этого ему никуда податься нельзя.

– Кому ему?

– Запевале главному, вон кому. Он там, в саду-то в этом, вылупит стакан али два хороших и орет, альни ребра трещат... Он уж не может без этого.

– Да позволь: какой такой запевала?

– Говорю же вам – главный запевала. Главач этих самых певцов. Натощак он никак не станет для них глотку рвать.

– И опять чепуха,– сказал семинарист.– Певцам и совсем нельзя пить. От этого голос портится.

Мужик ухмыльнулся, поднялся и сел.

– Ну, нет, не чепуха! – сказал он.– Не может от ней голос портиться. От ней голос не хуже, а много злей становится. Как же можно ровнять! От вина человеку все нипочем. Он прямо сам не свой, когда душу свою наспиртует. Вы попробуйте-ка ее, сивухи-то нашей. Она слепому глаза продерет.

Семинарист, махнув рукой, облокотился на колени и стал осторожно давить концом трости красных козявок, парами ползавших возле его ног. Мужик что-то думал, глядя в землю.

– Нет, этот жребий ваш – жестокий,– сказал он с сожалением.– Жестокая ваша задача. Театры – это как все равно зверильница, али, скажем, цирульня простая... Как эти звери там ревут, так я такой страсти прямо с отроду не видывал! Настоятель ходит,– как какой зритель захочет, чтоб зверь встал, он его сейчас железным прутом... Хочет не хочет, а обязательно подымется.

– Здравствуйте! – сказал семинарист.– Еще и цирульня на сцену появилась. Она-то тут при чем?

– Так, там все есть... Только я этого, говорю, никак не уважаю. Раз там молитвенного нету, все эти театры, зверильницы, цирульни всякие надо запечатывать и скилеты все переломать... Вон у меня родственник есть. Из себя так, писаришка простой, а голос – прямо беда. Молодой еще человек, а пить страшный здоровый, любитель до вина. Залез недавно на крышу и зевает на все село. Это что ж, прилично?

– Но зачем же на крышу-то?

– А спроси его! Чума его знает зачем. С сестрой вот, это они, правда, хорошо поют. Его сестра в городе живет, на машинке работает. Она хочь чахоточная, а голос много складней, чем у него, хоть под кого подтянет. Как приедет к нему, сядут зарей возле избы и поют. И не что-нибудь, не мужицкие песни, а все «Накинув плащ» либо «Ах ты, воля, моя воля...». Хорошо выходит. Сулился этот писарь ко мне приехать, вот и вы приезжайте попеть с ними. Я и угостить могу всякого.

– Merci bien [1],– сказал семинарист.– Приехать не мешало бы. Ты поистине достоин изучения.

Мужик радостно улыбнулся.

– Ага! – сказал он, подмигивая.

И горячо заговорил:

– Ах, брат, кабы мне ученье-то, каких бы я корней наворочал! Да ведь откуда ее взять? Я вон в городе недавно был. Так там что иделали? Там земский музей иделали и скилет крокодилий привезли, а он, может, пятьсот либо тысячу стоит. Вот, похоже, куда наши денежки-то идут, вот они мошенники-то, сукины дети! – сказал он с горечью.– А ты вот сиди тут... Да тут от одной скуки удавишься! Я уж на что бывалый человек, а и то не могу!

Скулы его порозовели, лицо приняло злое и грустное выражение. Не глядя на семинариста, он поднялся, надел армяк в рукава и, заскребая сапогами по земле, решительно пошел к лошади. «Чего он разозлился? – подумал семинарист, недоумевающе глядя ему вслед.– Вот нелепая и странная скотина!» Мужик, как бы угадав его мысли, обернулся.

– Чего вылупился? – сказал он зло и грубо.– Ай неправду говорю? Ты должен за ученье благодарен быть, а не лупиться. Я с тобой задушевно, а ты – лупишься. Вот подойду, измордую тебя, в лучшем виде,– тогда судись со мной! Не посмотрю, брат, на твое духовенство, на пение!

Распутав лошадь, он кинул обрывок ей на шею и, подпрыгнув, упал животом на ее спину, перекинул ногу и бодро поехал среди могильных бугров на дорогу.

Ошеломленный таким неожиданным концом беседы, семинарист вспыхнул, переставил трясущимися руками между колен трость.

Мужик повернул на деревню. Семинарист, посидев в оцепенении и успокоившись, пошел под гору, поднялся на косогор и свернул на какую-то высокую межу, осыпанную белым клевером и убегающую вдаль между двумя стенами серо-зеленой ржи, бледной вдали, под тучей. Мягкий, сладкий ветер дул навстречу, рожь слабо дымилась июньским цветом... Семинарист пожимал плечами и думал.

«Да-а. Без револьвера, собственно, и выходить бы не следовало».

Капри. 26 января. 1913

---

[1] Большое спасибо (*фр.*).

ХУДАЯ ТРАВА

Худая трава и́з поля вон!

Пословица

I

Аверкий слег, разговевшись на Петров день.

Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушие, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один – и в будни и в праздник. Молодые работники ели не в меру много и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смирные мужики, много поработавшие,– а он таки поработал, в одних батраках жил тридцатый год! – начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он был в тех мужицких годах, которых не определишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид несильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходившим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая, лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тонким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он неспешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

– Бог даст день, бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, розовели. Душа не принимала пищи. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается в праздник, и потому, что еда могла, как думал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он забо-

лел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких харчей, а, может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами и бледно усмехнулся.

– Люблю горчицу, а где я ее могу взять? – сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От баранины стало нехорошо; но он досидел-таки до конца стола. Когда же работники, дохлебав до последней капли огромную чашку голубого молока и самодовольно икая, стали подниматься и закуривать, смешивая запах махорки с запахом еды и свежих ситников, Аверкий осторожно надел свою большую шапку, – в пеньковом дне ее всегда была иголка, обмотанная ниткой, – и вышел на порог сенец, постоял среди голодных собак, жадно смотревших ему в глаза, точно знавших, что его тошнит. Погода портилась. Стало сумрачно, похоже на будничное предвечернее время; мелкий дождь стрекотал по газете, валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хвосты, усаживались на развалившейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали они, лезли, прятались под их крылья... Сладкие харчи! Аверкий знал им цену. Последняя предсмертная тягота наступала для него, а все же крепко не хотелось ему терять их, когда брел он за избу.

II

Воротился он бледный, с дрожащими ногами, и попросился у стряпухи на печку.

Она равнодушно спросила:

– Ай захворал?

– Служил тридцать лет, – в тон ей ответил Аверкий, влезая на нары, ставя лапоть в печурку и поднимаясь в тесное, жаркое пространство между печью и потолком, – служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху не подкую, – пошутил он. – Износился, задыхаться стал, – еще тверже и даже с удовольствием сказал он, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке на какую-то сломанную плетушку, тотчас стал задремывать и слышать свое глубокое, однообразно прерывающееся дыхание, ощущать его жар в губах. Он уже твердо решил, что захворал без отлеку, что он – «оброчный кочет». Он давно перемогался. Больные собаки уходят со двора, ищут по ме-

жам, по лесным опушкам какую-то тонкую, лишь им ведомую траву и едят ее – тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от дворни, Аверкий тоже искал – тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже не стало сил. Но все-таки надо было подумать: как быть с местом, сходить или нет? Если скоро умрешь, думать тут, конечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работники курили и хохотали. Слушая и думая, он стал видеть сны. Но из печальных и скучных воспоминаний складывались они. Вот он будто вышел из избы – надо ехать за хоботьем на гумно... А во двор входит и останавливается, увидя поднимающихся собак, странник: голова закутана женской шалью, на левой руке лукошко, в правой высокая палка, на худых ногах растоптанные лапти... «Если бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину,– подумал Аверкий в дремоте.– Вот дело настоящее, чистое, легкое, а то не знамо, зачем и жил на свете...»

Но тут громко и дружно захохотали работники, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукнула дверь, кто-то вошел.

– Опять залил глаза! – сказала стряпуха, вытирая стол и не глядя на вошедшего.– Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то совсем нету? – спросила она, оборачиваясь.– Ну, чего пришел? Не надоел еще?

Но дед,– караульщик снятого мещанином сада, «старик-плясун», как называл он сам себя для потехи, всегда хмельной, обтрепанный, всегда мучивший Аверкия своей неряшливостью, своей болтливостью, всей своей свободной, немужицкой жизнью,– дед не обратил на стряпуху внимания.

– Ребята, рассудите: мысленно ли? – понес он с непритворным отчаянием, разводя руками перед работниками.– Один как есть на этакий сад! Да я с него шести целковых не возьму! Приедет нынче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше не слуга! Будя! Вон ребятишки уже зачали в завязь вникать, две яблоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, береги главней всего... А что я один исделаю? Вишенья опять оборвали на валу – ну, и черт с ними! Я больной человек!

– Больной, а все хоть выжми! – сказала стряпуха.

– Полегче! – ответил старик, садясь на нары.– Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матери годится, а я ее, может, полгода не видал... да, почесть, и весь век не видал, не знаю, зачем и женился...

«Не хуже меня, такого-то»,– подумал Аверкий, закрыв глаза и уже не чувствуя к старику прежнего отвращения.

– А она небось мне не чужая,– продолжал тот с искренней горечью.– Я и ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а в салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж иcделаешь? И унесут за милую душу! А господам я вишенья дозволяю рвать: можете! Господа, они и съедят-то два зернышка, это ведь наш брат мужик... Правду я говорю ай нет?– крикнул он, снова оживляясь.– И тебе, староста, завсегда дозволяю, ты тут, может, первый человек надо всеми! Только ты меня чем обидел: тесу на кровать не дал! Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему давеча маленько – ан на косушку и есть...

Аверкий стал опять забываться... Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко отворены были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... «Богатому везде хорошо!» – с обидой и болью в голосе кричал где-то внизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый,– в тесные ворота не пролезет...» И очнулся, чувствуя, что бредит. «Да, бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка – ах, какая тоска, бесприютность! Зверь, и тот забивается умирать в свою собственную норь... Нет, конец, домой пора!»

III

Он очнулся в сумерки. Ни работников, ни стряпухи в избе не было. На лавке возле окна сидела дурочка Анюта, скитавшаяся по господам, по мужикам. Она была толстая, стриженая. Она глядела в окно,– голова ее сзади была похожа на кувшин вниз горлом,– и плакала: стряпухин мальчишка не дал ей лечь уснуть – все по лавке скакал.

– А там индюшки замучили,– говорила она, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе.– Легла отдохнуть в палисаднику – дождь, индюшки всю голову изодрали, а тут этот демоненок... Так-то, Анна Матвевна! Так-то, матушка! Чужой кусок не сладок! А богатая была, умней барыни слыла!

Это она вспоминала то золотое время, когда было у нее целых тридцать шесть рублей. Она копила и хранила их долго как зеницу ока. Да выпросил, вымолил в долг мужик, у которого она стояла на квартире, поклялся на церковь,

что отдаст – и, конечно, не отдал, даже прямо сказал: так и знай, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем давеча, уже не мутилась голова. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, господи, из-за чего только волнуются, страдают люди! Этот старик, так растерянно жаловавшийся работникам... Эта плачущая от обиды на ребенка Анюта...

– А ты бы его за виски,– сказал он, усмехаясь.

– Ай ты проснулся? – спросила дурочка. И вдруг неприятно, неумеренно зарыдала.– Да ай я слажу с ним?

Когда она стала затихать, Аверкий негромко и ласково окликнул ее.

– Что тебе? – тупо отозвалась она.

– Сходи, матушка, к моей старухе,– сказал Аверкий.– Скажи, чтоб пришла за мной. Боюсь, ей и самой есть нечего, да ведь что ж исделаешь? Как-нибудь перебьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

– Не с чужими же людьми сменить! – с горечью ответила дурочка.– Схожу, не бойся... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

– Нет...

– А может, испугаешься дюже?

– А что? – спросил он.

– Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча,– говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя...

– Ну и что же?

– Тебе, батюшка, плохо вышло... Он набрал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе посыпает... Берет и посыпает...

– А ты фамилию-то мою сказала? – спросил Аверкий.

– То-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

– А ты все-таки к старухе-то сходи,– сказал он.

– Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

– Хочешь кренделька? – спросила она.

– Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется,– сказал Аверкий.

Вздохнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно,– стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатой равниной за рекой,

в прозрачном небосклоне. Далеко на селе хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при ясной лучине...» Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящаяся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги – и неумелые руки, с трудом поднимающие полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга...

– Ай не узнала? – спрашивает он притворно небрежно.

– Дюже ты мне нужен узнавать! – отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос – и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

– Ай помочь?

– Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

– Хороша, да бедна. Ишь сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она, она...

IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, – армяк, онучи, линючую подпояску, – и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

– Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал – совсем никуда. Износился. Да заветный перстенек и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лег в телеге без колес – и в открытые ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косой крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь, однако, не ехала – верно, не пускала погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, поднимался холодный ветер, и бежал по полям косой радужный дождь.

– Будут беды великие,– говорила соседка, бывшая дворовая.– Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже все хотели уверить себя, что авось, бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень с градом. К вечеру стихало, солнце проглядывало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

– Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней, как собака. Старуха все поля, все соседние деревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видали ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывала все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притащили на деревню ры-

жую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца, не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который на говор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

– Уж чего там! – сказал он. – Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедля ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадь в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загремел по улице. Поскакали за ним верховые. В полях было темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом всходившей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю требуху, подняли гам и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда привели старосту с пáлевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника, Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

– Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий, со своим равнодушием к земным делам, вполне верил ему – и даже возвысил голос, настаивая, чтобы его отпустили, а не сажали в холодную. И удивленные, сбитые с толку соседи, в конце концов, покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лицу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

V

Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился – и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеды он лежал и прислушивался: не идут ли? Послышались шаги и голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним – дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своею красотой, скромностью, соединенной с достоинством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платьице, которая с любопытством осматривала дыры в крыше риги и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему не хотевшую целоваться, воротившую в сторону личико девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно,– зять все старался шутить,– но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотою, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха – лаптями, дряблостью кожи, усталостью, искренностью. Их противоположность взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не притворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотят поглядеть на тебя – не хорош ты стал, батюшка, да что ж сделаешь. А он, и правда, был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчавшие под нею, как удила. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза.

Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть.

И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся сальной пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Дивила его ладонь: впалая, она была суха и блестела, будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся.

VI

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной, с западающими клапанами, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставил вперед правое колено, поставил на него свою большую мягко и приятно рычавшую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина, с свежим, приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следили за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах риги, темнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо,– думал Аверкий,– значит, ему дочь моя не хороша, иную надо». Гармонья смолкла. Кто-то говорил за воротами дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрашивая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы.

«Ах, неладно,– подумал Аверкий.– А дочь небось любит его...» В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучилась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндевело...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги наземь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается в чужие дела, Аверкий, усмехнувшись, сказал про петуха:

– Ишь, где квартеру себе нашел!

– А ты чего ж не спишь? – спросил зять.

– Я, почесть, никогда не сплю,– ответил Аверкий.

– Помираешь, значит,– равнодушно сказал зять, ложась.

– Худая трава из поля вон,– пошутил Аверкий.– А чую – конец. Чую – *она*. Ночью скучаю, пуще всего как полуночная звезда-зарница взойдет. Никакая! – сказал он безнадежно.– Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиленье одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, приятное зятю. Он окликнул его:

– Спишь?

– Нет,– отозвался зять, очнувшись.– А что?

И забормотал строго:

– Будя буровить-то, людям спать не давать... Спи!

Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хороша любовь на свете живет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц,– как отражение в затуманенном зеркале,– прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день.

Зять проснулся, свежо и крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело и молодо глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю.

– Обузил хромой дьявол! – сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

– Тесный сапог осеннее дело никуда,– ответил Аверкий.– Мука.

– Да это еще по чулку,– сказал зять.– А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На него надели ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках,– подарок с барского двора,– и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, пе-

тух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях – упоительным. Дорога уже обвяла. День был августовский – прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

VII

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли,– только палили изжогой. Но он все-таки ел их – целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. А с людьми он мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии,– на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких – и не счесть, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Анюта. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «Ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним теперь, как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик-плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблок, с неумеренной настойчивостью совал их под подушку Аверкию и с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

– Хм! – говорил он.– Мне тут, в селе, рай! Тут я малень-

ко оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле – хоть бы тебе дворишко! Скука – избавь бог! Не то что у вас в селе: тут в поле выдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в конопях, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли новое зерно и опять рассевали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопливо разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался – обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги вон; понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не будет – и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряснике: посидел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

– Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к богу, иже даде его...» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

– Избавь бог! Как можно того миновать!

На мгновенье ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

– Нет, избавь, господи, – не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил некстати:

– Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла божья матерь от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался

сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его были ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах – неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один какой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо! – думал он. – Жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит – родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже в него ощутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью – вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл – вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

– Ну, и норовиста! Не докличешься!

Мир он по-прежнему видел только в ворота – видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обнаженными лозинками все белевшие, все холодевшие облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал:

– Едет осень на пегой кобыле...

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным призраком стояла перед ним, свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь – и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зеленями, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам – древний, длинноволосый, длинноногий, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле – и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зеленя. Нагнал его барский староста верхом, в седле, молча, злобно дал ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало,– от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем его истомленное сердце, и не понимал,– сон ли это был, или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на коленки. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

– Нет! Пойду в избу! Задохнусь – туда и дорога...

А наутро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней – забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели – глушь, дичь, а в избе – уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой – хорошо!

И дочь приехала. «Точно почуяло ее сердце»,– подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на сговор. Белой кур́ой несло над деревней, убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки – только сама река, еще не застывшая, чернела, и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца,– ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка – это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила на нарах постель

Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В раскрытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у батюшки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

– Мишка, родимец тебя расшиби! – крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться.– Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грызя подсолнухи, вошла подруга, та, на чей сговор она приехала, девка серьезная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

– Пойдем батюшку перевозить,– торопливо сказала ей дочь Аверкия.– Совсем помирает, за попом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу,– близкой смертью,– лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по-зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаясь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским довольством думал: придут, чтобы перекладывать его,– ан у него уж все готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

– Батюшка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке, ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, вроде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подруги потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы – траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь на пороге низкой двери, вошел в избу священник.

– Где он тут у вас? – бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В тихом страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на сговор.) Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще кто-то, тот, для кого все это и делалось, – сам бог как будто, – сказал:

– Шапку-то, шапку-то сними!

Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

– Батюшка! Ну, как по-вашему, – вы это дело хорошо знаете, – есть уж *она* во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

– Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!» – крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло – он плыл в тумане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие – хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Предста-

вился ему летний день, летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем – его могила... Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

– Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе сдумал, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка, иду мимо вас – ты меня встречаешь, ты меня привечаешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, молонья, расступися, мать сыра-земля! Уж вы дуньте, ветры буйные,– вы раздуйте золотую гробовую парчу, распахните мово батюшку!

«Ах, это дочь!» – подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.

Капри. 22 февраля. 1913

ЛИРНИК РОДИОН

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховіями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казáчки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и по-

спешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтораста хохлушек, плывших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой – юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на пояснице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачноалом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выспавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость

и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристрявший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые – народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью матерь, – и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих – вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, – «ой, ти, сыну, мій сын, ты, дытына моя!» – долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса заныл первую строку песни еще более старин-

ной, чем о матери и сыне,– «край Дунаю трава шумить» – и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатились со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском,– многие впервые побывали на этом пути в Киеве – и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил – и сквозь восточную степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что́ именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу,– о сироте и о мачехе,– мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

– Ой, зашуміли луги ще й быстрії рікі,– вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

– Померла матинка, зосталися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу,– сердцу и беспощадному и жалостливому,– какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

– Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

– Нещасні сіріткі – ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

– Що сірота робить – робота ні за що, а люді говорять: сірота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ

всем чужого, всем покорного ребенка, стриженой, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи – но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступиться за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности.– И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

– Ой, пішла сірітка темнимі лугами,– вмивается сірітка дрібнимі сльозами. Не могла сірітка мачусі вгодити,– ой, пішла сірітка по світу блудіти: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом.

– Тай зустрів її Христос, став її питати: «Куда йдешь, сірітка?» – «Матери шукати».– «Ой, не йди, сірітка, бо далеко зайдешъ, вже ж своєї матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матинка на высокій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью,– точнее говоря, с «янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

– Ой, пішла сірітка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу ридна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став її стихо, словесно питати:

– Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
– Ох, це я, матинко:
Прийми меня к собі!
– Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сірітка,
Ні їсти, ні піти,
Тільки велів господь
В сирій землі гніти!

Пішла б ти, сірітка,
Мачусі б просила:
Може б змілувалась –
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

– Я ж її просила, я ж її годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины – картины Христова суда, его возмездия:

– Посилає Христос-бог Янголів от себе, – сказал он торжественно, чистым и звонким голосом. – Візьміть ту сірітку до ясного небе, посадіть сірітку у світлому раю, у господа бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

Посилає бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по її духу:
Підніміть мачуху
У гору високо,
Закіньте мачуху
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, без лиры:

– Слухайте ж, люде: хто сіроти має, нехай доглядає, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Всходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью – весною, плавнями. Только

крупные лучистые звезды остались в небе, и лым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, коечто улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913

ХОРОШИХ КРОВЕЙ

– Я хороших кровей,– говорит про себя коновал Липат.– А все оттого, что мы спокон веку едим хорошо. Со скотины взять пример: у смореной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну, вот и считай, что мне по наследству пришлось... Я, брат, не простой коновал.

Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью. Зовут его, конечно, не Липатом, но Ипат – это мужикам да и ему самому не нравится. Отца его звали так же, как деда,– Борисом. Он уверяет, что нет такого имени – Борис, а есть Борисоглеб, что был в старину святой, благоверный князь-однодворец, носивший это имя, и что далеко не всякий мужик достоин быть тезкой Борисоглеба.

– И меня обязательно надо было так же назвать,– говорит он.– Только, конечно, мы попам нож вострый, они наш род спокон веку не любят, вот и сделали назло нам.

Росту он большого, волосом бледно-желт; глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывают, из Сибири пришли,– говорит он.– Оттого у меня и рост и волос сибирный. Одного не пойму,– и тут он сдвигает рукав полу-

шубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью руку.– Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной: верно, меченые мы все...» Зимой он носит черную баранью шапку, сверх полушубка – длинный тулуп нараспашку, с большим, раскинутым по плечам воротом из белой овчины, и длинные, кожей обшитые валенки.

Он богат. Живет на дедовском поместье, в голом поле. Хозяйствует без работников, с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, но беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу-старика, убил – «как лярву» – слегой, заявил, куда следует,– и забыл. Воров ни в грош не ставит – «мышь копны не боится» – говорит он насмешливо, но держит целых семь штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу, в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку, рвут пастухов и овец,– только подгони стадо к хутору! – и почему-то особенно злы осенью.

Коновал он знаменитый. Но слывет и редким крысомором. А морить, изгонять крыс – это уже с колдовством связано.

По достатку своему он давно бы мог оставить такие дела. Но они перешли к нему по наследству, от покойников родителей; они дают ему известность, окружают его двор и все предания двора таинственностью. А это для него важнее всякого богатства.

Он очень дорожит тем, что его считают не простым человеком. Он чувствует себя носителем какой-то большой и жуткой силы, с которой он, если бы даже и хотел того, не мог бы расстаться,– невольным восприемником каких-то знаний, высоких тем более, что, соприкасаясь с колдовством, они, однако, творят на земле не злое, а доброе.

Он рассказывает:

– Есть разные колдуны. Есть от бога, есть и от врага. Кто к сатане захочет прикачнуться, тот уж и делает так. Перво-наперво он в самую темь, в ночь-полночь в овин обязан итить и ружье с собой и образ взять. Собака не брешет, лягушка не турлычет, а он, знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит... Как полночь, так он и вот он: зашуршит, как собака, в соломе, подымется рогами под самый решетник из этой самой страсти, темени, и корыто поганое перед тобой постановит. Сам молчит, а сам дело делает. Наблюет в него, нагадит, а ты – ешь. Потом ружье у тебя из рук возьмет. Зарядит, как надо, забьет дохлой шерстью, а образ над печью пристроит: хочешь не хочешь, а стреляй...

– Это, значит, на гибельные дела силу человек получает,– говорит слушатель.– А на хорошие?

– А на хорошие тоже не мед. Ночью надо на перекресток пойтить и свиным ножом кровь себе из левой руки кинуть. Он ее страсть как любит. Всю подберет, вылижет вместе с пылью. Ну, вот таким-то побытом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него *силы,* а он велел подать себе на блюде серебра, золота – и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал – «нет, говорит, видно, с собой не унесешь!» – и открылся отцу во всем... А мне покойник родитель только и сказал, что одно слово до трех раз: «Все мое – твое, все мое – твое, все мое – твое...» Штука-то, кажись, не хитрая, а поди-ка, откажись!

Ездит он на крыс с мешочком «белого камня», мышьяка, а то и просто «с голыми руками». Он говорит, что стоит ему войти в дом, где, предвещая всяческие беды, множатся крысы, как гурьбой потянется крысиное пискучее племя вон из дому, в степь, в яруги. Он появлением своим повергает в тревогу пауков, ткущих сети по углам, за образами. Он знает какие-то, только его роду ведомые, «отдушины» у скотины. Взглянув на скотину, он без ошибки может определить время ее болезни или смерти. Распухнет у свиньи горло, он обложит его с наговором теплым пометом. Объестся корова вёху, он пробьет ей бок гвоздем. Очумеет, закружится «круговая» овца, он зальет ей в ухо горячего масла. Март, начало весны – время его усиленных разъездов. Тут он работает не покладая рук. Прибыль животворящих сил, бродящих во всем живом, он начинает чувствовать рано. Голос его приобретает тогда особую крепость, движения – силу и точность. Он осматривает скотину, ломает молодым лошадям «дурной зуб» и властно вторгается в самые сокровенные уставы природы.

Нынче утро тихое и снежное. Много молодого мартовского снега выпало за ночь на господскую усадьбу. Снег и теперь еще падает, но такой редкий, что виден он только на темной глубине в раскрытых воротах конюшни. Белые пухлые крыши мягко и свежо выделяются на сером небе. Сад весь в лебяжьем пуху; налипло на все стволы, на все ветви и склонило их. Чуть морозит, но воздух не зимний. Не по-зимнему пахуч кухонный дым, встающий ровно и высоко, сизым витым столбом. С закрытыми глазами стоит на варке скотина, густо обросшая за зиму шерстью, коротконогая, бокастая... Что чувствует она? Она в сладкой предвесенней истоме, пьянеет.

Липат приехал в усадьбу рано. Дома, на хуторе, он встал чуть свет. Осторожно слез с нар, одернул рубаху, плеснул на лицо водою и, покрестившись в темный еще угол, шагнул вон из душной, полной спящими избы: надо погоду взглянуть, да и сладко глотнуть в этот ранний час душистой мартовской свежести. Возле избы, на рыхлом снегу, слабо белеющем в сумраке, валялись, играли собаки. Одна вскочила и бросилась к нему на грудь: он крепко охватил ее, теплую, сильную, с бьющимся сердцем, зорко заглянул ей в прозрачные глаза – и она тотчас же отвела и притушила их... Потом пошел будить семью, одеваться, завтракать. Лошадь запрягли и подали к крыльцу сыновья.

Лошадь старая, умом не уступающая человеку, нескладная и машистая, легко несла его по снежной дороге. Раскинув по плечам ворот тулупа, овчина которого так приятно воняет на воздухе своей кислотой, он глубоко сидел в низких козырьках с лубочным круглым задом и чуть держал вожжи. Зыбко белел снежный простор перед ним. В селе стало светлей, ярче. Лошадь на полном ходу сама завернула во двор усадьбы.

Птичница вела резать гусака, держа его за одно крыло, и он, важно переваливаясь, следовал за нею.

– Буди батраков! – крикнул ей Липат.

Не привязывая, остановил он лошадь недалеко от конюшни, у стопудового каменного корыта, похожего на скифскую гробницу. Собаки нигде не брешут на него. Все они поднялись и побежали к нему, окружили, обнюхали его. Он, стоя среди них, не спеша скинул тулуп, хорошенько свернул его, уложил в козырьки, в овсяную солому, и остался в коротком полушубке. Полушубок этот весь блестит, весь замаслился и заскоруз от крови. Подпоясан он черным и скользким ремешком – и сколько ржавых железок, крючков и ножей всяческой длины, спрятанных в кожаные ножны, висит, болтается на этом ремешке! В конюшне уже сидели, ждали работники.

Вот и последних, редких снежинок не стало видно. В тишине и спокойствии белого утра ясно слышны зычные окрики Липата на горячих непокорных жеребчиков. Дело совершается над ними жестокое, ужасное, но разве не на то и дана мудрая власть человеку, чтобы смирять, уравновешивать буйные силы природы? Работники кричали бестолково, не в лад. Жеребчики шарахались, они ловили их, галдели, торопя друг друга, когда нужно было навалиться разом. А окрики Липата были кратки и властны: он-то понимал, на что восстал он – зло и грубо, но с целями благими.

Конопатая, в рудых волосах, жесткая рука его, засученная по локоть, часто мелькала в воротах конюшни – далеко выплескивала из деревянного, вырубленного топором корца темную густую кровь. Алыми пятнами были обрызганы и порог, и ящик старой телеги, занесенной снегом у конюшенной стены, и борзые собаки, которые с визгом отскакивали, когда мелькала рука Липата, а потом, дрожа от жадности, лизали, ели красный снег.

Выводили и валяли лошадей работники. Липат командовал и наваливался на лошадь только тогда, когда она была уже связана, сбита с ног и со всех сторон прижата к земле. Никитка, толстомордый малый, был неповоротлив. Липат дал ему подзатыльник. Солдат, унылый человек, был болен зубами и ленив. Липат сурово и твердо глянул ему в глаза – и солдат нахмурился, но ожил. Старика Гаврилу, услужливого, но глупого, торопливого, ему не раз хотелось взять за шиворот и выкинуть вон.

Напоследок делали другое дело: ломали зуб молодой кобылке золотистой масти, с «лысиной» на лбу и светлой гривой. Она выскочила из денника легко и доверчиво – и, подбитая под ноги, рухнула на солому, очень удивленная этим. Старик, упираясь лаптями в землю, лежал, надувался на ее крупе, но все сползал с него, подхватывая левой рукой гашник сползающих порток. Солдат тянул конец веревки, которой захлестнули морду кобылки,– задирал ей кверху голову, раскрывал рот, в который веревка была пропущена. Никитка вытащил на сторону и крепко держал голой рукой ее розовый, слюнявый, все выскальзывающий язык. А Липат, держа в руке короткую железную палку, острую по краям и с желобком на конце, глядел на белые крупные зубы и внушительно говорил:

– Держите крепче. Теперь гляньте на вон энтот желтый зуб. Этот зуб называется, по старому преданию, вредный зуб, он называется – сухой зуб. Тут весна, самые корма, самый нагул скотине, а лошадь от этого зуба щеки проедает, ворочать языком ей нельзя, и бывает заражение. Не догляди, не сломай вовремя – она будет как шальная ходить, и жизненности в ней никакой не будет.

Потом он сразу, со всего своего роста, рухнул боком на плечо кобылки, сунул ей в рот железную палку, поймал нужный зуб желобком и с треском стал выворачивать. Кобылка забилась, заметалась, разбрасывая во все стороны мерзлую землю, мерзлый помет и солому из-под своих блестящих подков. Работники тоже бились, тяжело дышали

и надувались, сдерживая ее. У старика опять показалось голое тело.

Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой:

– Шабаш. Благодарение богу.

Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа. Потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды.

– Свят, свят, свят! – сказал Липат, не спуская с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. – На доброе здоровьице!

Но сейчас же и нахмурился. И, вытирая окровавленные пальцы о завернутую полу, сурово стал приказывать подтянувшемуся солдату:

– А вороному меринку надобно лекарству составить. Я составлю. Вели принесть шесть горстей муки пашеничной. Этой мукой ты обязан шесть ден посыпать ему резку. Для припорции нынче сам посыплю, покажу. А в муке этой будет семибратская кровь и кониный хинин. После шести ден кровя у него зачнут расходиться, внутренность очишшаться, и зачнет он как ото сна отходить, будет опять полноту иметь и даже грудь зачнет наливать. К Егорию не узнаешь – не нарадуешься. А если бы его так кинуть, безо всякого внимания, сейчас он сохнуть зачнет, дрянь носом кинется, и он даже может других заразить...

Потом он отдыхал – перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью к ней, к тайникам и силам природы. Сидя возле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света – и эта весенняя белизна и без солнца слепит.

Анакапри. 15 марта. 1913

СООТЕЧЕСТВЕННИК

Этот брянский мужик мальчишкой был привезен в Москву из деревни, состоял на побегушках при купеческом амбаре на Ильинке, стрелой летал в трактиры за кипятком: схватит медный чайник и мчится в галереях Старых Рядов, темной водяной струей выписывая по серому полю цифру восемь... бойкий зимний день, идет снежок, Ильинка чернеет народом, бегут, тасуются извозчичьи лошади, а он, в одной рубашке, без шапки, – голова у него похожа на красного

ежа,– срывается с тротуара, выскочив на улицу, и жжет на подошвах по льду в канавке...

Представьте же, как странно видеть этого мужика в тропиках, под экватором! Он сидит в своей конторе, в старинном доме голландской постройки. За окнами – жаркий белый город, голые черные рикши, магазины драгоценных камней, отели, полные туристов со всех концов земли, в теплой зеленой воде гавани – американские и японские пароходы, за гаванью, на низменных побережьях,– кокосовые леса... Одетый во все белое, рослый, узловатый, огненно-рыжий, с голубой веснушчатой кожей, бледный и энергично-возбужденный, даже просто шальной,– от зноя, нервности, постоянного хмеля и деловитости,– с виду он не то швед, не то англичанин. Письменный стол его весь завален бумагами, счетами. Кругом стоит сухой треск ремингтонов. Старик-индус, босой, в халате и тюрбане, бесшумно и быстро меняет своими темными, изящными руками в серебряных кольцах бутылочки холодной содовой воды и поминутно, с таинственной миной, докладывает о посетителях, к каждому слову прибавляя: сэр. А сэр весь поглощен,– или притворяется, что поглощен,– беседой с гостем из России, перед которым он играет роль радушного хозяина этого тропического острова. На столе несколько раскрытых коробок с дорогими сигарами, с турецкими, египетскими, английскими и гаванскими папиросами. Он знаток в табаках,– как и во всем, впрочем,– он угощает то тем, то другим... Мельком взглянув на поданную бумагу, он, среди разговора, твердо и коротко расчеркивается на ней; увидев входящего посетителя, меняет выражение лица, двумя, тремя фразами кончает дело и снова подхватывает прерванную беседу; принимая депешу, разрывает ее как-то особенно небрежно, на мгновение нахмуривается, пробегая: «А, идиоты!» – крепко выговаривает он с досадой и, отбросив в сторону, тотчас забывает или притворяется, что забывает о ней... У него все идиоты. Он уже успел удивить гостя своей самоуверенностью, решительным и скептическим умом, деловитостью, огромным житейским опытом и несметными знакомствами с людьми самых разнообразных классов и положений. Кого ни назови из московских знаменитостей,– купцов, администраторов, врачей, журналистов,– он всех знает, да хорошо знает и цену каждому из них. А какая у него осведомленность по части всяких закулисных тайн, редких карьер и темных историй!

Гость еще в Порт-Саиде много слышал о нем от одного

его приятеля, с циничной веселостью говорившего, что Зотов прошел огонь, воду и медные трубы: «Да-а,– говорил этот приятель, покачивая головой с насмешливой и загадочной улыбкой,– хорош мальчик!» На месте гость узнал еще больше и главным образом из отрывочных фраз самого же Зотова. Странно, неожиданно проявляются таланты на Руси, и чудеса делают они при счастливых жребиях! А он вынул жребий необыкновенно счастливый, прибыв в Москву мальчишкой. Был у него там дядя, сытый, умный мужик, уже приобретший и достаток и сознание собственного достоинства, ловко умевший, не роняя себя, услужить порядочному господину. Работал этот дядя в Сандуновских банях, и многие, кого окружал он облаками горячей и душистой мыльной пены, звали его по имени, любили поговорить с ним. Любил и Нечаев, либеральный, образованный крез, большой, полный купец в золотых очках. Мудрено ли было, накинув на розовое распаренное тело скользкую, тонкую простыню, замолвить словечко о мальчишке-племяннике? И мальчишка попал не дратву сучить, не утюги раздувать, а в сумрачный, чистый и тихий амбар на Ильинке. Все остальное было делом его личной живости и талантливости. Как начинают эти счастливцы и самородки,– известно: днем мальчишка на побегушках, вечером по собственной охоте, без всяких руководителей, корпит при тусклом огарке, учится читать, писать; утром, до прихода приказчиков, ничего не понимая, но упрямо одолевает газету; а только чукнут приказчики – он уже тут как тут, как лист перед травой, ловит каждое слово, каждый взгляд... Лет двенадцати этот мальчишка, обративший на себя исключительное хозяйское внимание, был взят в хозяйский дом, а на восемнадцатом году был уже в Германии, изучал бумажное дело, работая не хуже любого немца: иностранцы будто бы верить не хотели, что он русский. «Часто не верят и теперь, болваны!» – говорит Зотов, по своему обыкновению отрывисто и грубовато, бросая одну папиросу и тотчас же закуривая другую. Второй день он в черных очках, потому что одна бровь у него разбита: поскользнулся, говорит, на кожицу банана в баре,– значит, хорош был. А ведь он здесь, на острове, по своему положению персона. Все время владеет он любопытством, вниманием собеседника. Он, этот до наглости смелый человек, заражает своей смелостью, своей энергией, порой восхищает даже. Но, слушая его, дивясь ему, глядишь на него и думаешь: да, но ведь он пьян, пьян! Он всегда во хмелю – от нервности, от жары, от табаку, от ви-

ски: много пьют англичане, но, конечно, ни один из них во всем этом белом городе не выпивает за день столько, сколько Зотов, не глотает так жадно ледяную содовую воду, не выкуривает такого количества сигар и папирос, не говорит так много и путано...

После заграничной выучки он работал дома и пользовался неограниченным доверием своего воспитателя. Но в самостоятельности он уже не хотел знать меры, равно как и в тратах. Посланный в Среднюю Азию, он вдруг, по какому-то пустому поводу, поссорился, порвал все связи с Нечаевым – и сразу превратился в человека, ровно и твердо шедшего в гору, чуть не в искателя приключений. Он изъездил всю Сибирь, побывал на Амуре, в Китае, сгорая нетерпением начать какое-нибудь собственное дело,– такое, которое привело бы его к обогащению. Кончил он тем, что ввязался в большое чайное дело, устроив себе еще, кроме того, две службы, и вот уже шестой год пребывает здесь, в тропиках, облеченный немалыми полномочиями... Редкий европеец поставил бы так легко крест на своей изумительной по удаче судьбе, да даже просто на своей специальности, взявшей столько лет труда! Не отдался бы европеец на прихоть случайностей, не взвалил бы на себя и правительственную службу, и пароходную агентуру, и чайные дела, не затеял бы наряду со всем этим еще афер с жемчужными раковинами, не содержал бы свою черную любовницу,– редкую, по слухам, красавицу,– на диво всему городу... Он очень себе на уме, но порою очень бестактен, одинаково сильно проявляет то большую выдержку, то несдержанность, то скрытность, то болтливость, щеголяет своим простым происхождением и в то же время хвастает знакомством с людьми знатными, на чем свет стоит ругает русское правительство и с видимой гордостью держит у себя на столе фотографический портрет красивого военного, собственноручно пожаловавшего ему этот портрет с кратким надписанием своего имени; рассказывая что-нибудь, по его мнению, забавное, не понимает зачастую, что смысл этого забавного можно истолковать совсем не в его пользу: например, из его же собственных рассказов узнал гость, что уж слишком всезнающим, чуть не проходимцем казался он некоторым из тех дельцов Сибири, Манджурии, с которыми так быстро сходился он, которых очаровывал на первых порах своей любезностью и общительностью, своими замашками человека, привыкшего жить на широкую ногу, понимающего толк решительно во всем, начиная с сигар, вина,

женщин и кончая какими-то раскопками на Филиппинских островах, весьма будто бы губительными по причине земляного микроба...

Вечером гость едет с ним за́ город.

Там, на берегу океана, есть ресторан, где туристы и резиденты отдыхают от городской духоты, пьют чай, брэнди, шампанское и любуются закатом с площадки перед рестораном. Едут туда на рикшах, в крохотных колясочках, друг за другом, по бесконечной дороге среди вековой растительности, мимо бунгалоу и дикарских хижин, и целый час видит перед собой гость из России только голое тело коричневого человека, мчащего его все дальше под ветвистый свод раскидистых деревьев, а за ним, за этим телом и его черноволосой головой,– большую белую фигуру Зотова, высоко и прямо сидящего в своей колясочке. На полпути Зотов вдруг обертывается и, поднимая палку, кричит гостю:

– Хотите заедем?

Гость отвечает согласием,– Зотов указал на небольшой буддийский монастырь,– и тяжело дышащие, мокрые от пота дикари подкатывают к проходу между хижинами под пальмами.

– Ну, не наше ли, не российское ли?– говорит Зотов, выходя из экипажа.– Только у нас так бессовестно много этой листвы, этого леса, этих лачуг, этих грязных мальчишек! Вы только поглядите,– говорит он, указывая палкой на хижины, на их лиственные и камышовые крыши, на голых детей и на старых и молодых туземцев, любопытно обетупивших приезжих.– И вечер-то наш, летний, душный и такой анафемски скучный!– раздраженно говорит он, направляясь к старой кумирне, стоящей на холме под тонкими кокосовыми пальмами, где уже ждет жрец в желтом плаще, с обнаженным правым плечом, с небольшой, сдавленной в висках бритой головой и пристальными, безумными глазами.

Войдя в темное маленькое святилище, соотечественники снимают мокрые от пота, холодные внутри шлемы. Жрец пальцем указывает на головы и мотает им: этого, мол, не требуется.

– Много ты понимаешь, дурак!– говорит Зотов по-русски и долго, с какой-то странной серьезностью, глядит на двухсаженную деревянную статую, красно и желто расписанную и раззолоченную, лежащую на боку за черным каменным жертвенником, на котором насыпаны мелкие монеты, никелевые кольца и курятся ароматическим дымком тончайшие коричневые палочки.

– А раскрашен-то, лакирован-то как! – говорит он отрывисто. – Точь-в-точь деревянные миски и чашки на наших ярмарках...

И небрежно кидает на серебряную тарелку, протянутую жрецом, тяжелый червонец...

Когда приезжают в ресторан, лицо у него меловое, и черные очки очень страшны на этом лице. «Я целых два часа ничем не отравлялся, ничего не пил, не курил и потому смертельно уморился», – говорит он. И как только садится к столику на площадке перед рестораном, на обрывистом берегу, заваленном внизу голубыми валунами, вечно купающимися в теплой воде океана, тотчас заказывает шампанского.

Вино очень холодное, и оба жадно пьют его, быстро хмелея и глядя на темнеющий сиреневый океан, на бесконечно далекий закат, мутно и нежно розовый. Дует теплый слабый ветер, дремотно звенят какие-то насекомые в кустарниках... И вдруг Зотов далеко бросает папиросу, быстро закуривает другую и снова, волнуясь, с упорством, начинает говорить о сходстве этого острова с Россией.

Гость усмехается. Зотов путано и торопливо возражает ему. Дело, говорит он, не в одном внешнем сходстве... да он даже и не сходство, собственно, имел в виду, а скорее свои ощущения... может быть, эти ощущения шатки, болезненны, ну, да это уж другой вопрос... в этом климате сам черт сойдет с ума, с этим климатом нельзя шутить... а вот, рассуждая о всяческих дальневосточных опасностях, как-то совсем забывают об этом, забывают, что господам арийцам и особенно нам, русским, следует совершать свои победоносные шествия в тропики с крайней осторожностью, почаще вспоминая своих пращуров и завоевание ими Индостана, так знаменательно кончившееся буддизмом: ведь это же мы, арийцы, залезшие после Тибета в тропики, породили это ужасающее в своей непреложной мудрости учение... И затем горячо начинает уверять, что «вся сила в том», что он уже видел, чувствовал индийские тропики, может быть, тысячи лет тому назад, – глазами и душой своего бесконечно давнего предка...

Он говорит, – с тонкостью, страстностью и красноречием, которых никак нельзя было ожидать от него, – что он испытал чувства необыкновенные на пути сюда, в те жаркие звездные ночи, когда впервые глядел на Южный Крест, на Канопус и на те первозданные звездные туманности, что называются Магеллановыми Облаками, видел Угольные

Мешки, эти траурные пролеты в бесконечность мировых пространств, и страшное великолепие Альфы Центавра, игравшей на совершенно пустом небосклоне, где точно начиналось какое-то безмерное, недоступное нашему разуму Ничто... Да, да, восклицает он настойчиво, уставясь на гостя своими черными очками,– совершенно пуст был небосклон вокруг нее! Зрелище нового мира, новых небес раскрывалось передо мною, но мне казалось,– и это ощущение было до ужаса живо во мне, уверяю вас! – мне казалось, что я уже видел их когда-то. Все дни и ночи широко размахивала нас в океане плавная мертвая волна. Мы шли навстречу восточному муссону, он дул резко и сильно, от его непрестанного воздушного тока гудело в реях и рябило в глазах, ход казался быстрым... Просыпаясь по ночам в горячей темноте своей каюты, я шел отдыхать от своего изнурительного сна на верхние палубы, на ветер, под эти звезды – совсем не те, что я видел всю жизнь, с самого рождения и с которыми уже сроднился, совсем, совсем другие, но вместе с тем как будто и не совсем новые, а *смутно вспоминаемые.* В их тусклом свете стоял непрестанный шум океана, пароход медленно клало с одного бока на другой, и, точно удавленники в серых саванах, с распростертыми руками, качались и дрожали возле трубы длинные парусиновые вентиляторы, жадно ловившие своими отверстиями свежесть муссона, с которым уже доносилось до нас горячечное дыхание нашей страшной Прародины. И тут порою охватывала меня такая тоска,– тоска какого-то бесконечно далекого воспоминания,– что человеческим словом не выразишь даже и сотой доли ее...

Дует слабый, сладкий ветер, дремотно звенят кустарники. Сумерки начинают наливаться тем сказочным оранжево-золотистым светом, который всегда возникает в тропиках вскоре после заката. Оранжево-золотистой пеной кипит прибой, в оранжево-золотистом озарении лица и белые одежды... «Как связать то, чем он дивил меня днем, и то, чем дивит теперь?» – думает гость из России про своего удивительного соотечественника. А тот смотрит на него своими черными очками и упрямо повторяет:

– Да, да, я уже был здесь... И вообще, я человек обреченный... Если бы вы знали, как страшно запутаны мои дела! Еще больше, кажется, чем душа и мысли! Ну, да из всего есть выход. Дернул собачку револьвера, поглубже всунув его в рот,– все эти дела, мысли и чувства разлетятся к чертовой матери!

1916

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕРЕВНЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Бунин И.А.

Б91 Деревня; Повести и рассказы./Вступ. статья Л. Крутиковой. М.: Худож. лит., 1981. 319 с. (Классики и современники. Русская классич. лит-ра).

В сборник повестей и рассказов замечательного русского писателя И. А. Бунина (1870–1953) вошли такие его широко известные произведения, как «Деревня», «Суходол», «Захар Воробьев», «Худая трава» и др.

Б $\frac{70301\text{-}262}{028(01)\text{-}81}$ 8-81 4702010100 **Р 1**

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

ДЕРЕВНЯ

Повести и рассказы

Редактор И. Щербакова

Художественный редактор В. Серебряков

Технический редактор Л. Вецкувене

Корректоры Н. Замятина и В. Широкова

ИБ № 1937

Сдано в набор 15.12.80. Подписано в печать 16.06.81. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 3. Гарнитура таймс. Печать офсетная. 16,8 усл. печ. л. 17,43 усл. кр.-отт. 19,601 уч.-изд. л. Тираж 1.000 000 экз. (6 завод 700 001—900 000 экз.). Заказ 964. Цена 1 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б—78, Ново-Басманная, 19. Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Можайск, 143200, ул. Мира, 93.

1 р. 60 к.







И. А. Бунин ДЕРЕВНЯ Повести и рассказы